МАРИАННА ВЕХОВА

БУМАЖНЫЕ МАКИ

Москва 2002

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания человека, прошедшего через путь страданий и потерь: погибшей в ссылке матери и пропавшего без вести в народном ополчении отце.

- Вехова М. Б.
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

Вехова М. Б.
Бумажные маки : Повесть о детстве

1

У нас не принято говорить с детьми о смерти. Считается, что надо оберегать детскую психику. Как будто с древнейших времен дети не были свидетелями войн и разбоев. Словно детей не уводили в плен, не заставляли непосильно трудиться, и они только играли, пели и радовались...

Мы стоим с семилетней дочкой у гроба моей бабушки и читаем заупокойную молитву. Ребенок без страха смотрит в лицо покойницы, и говорит, вздохнув, когда молитва кончается:

— Хорошо, что мы ее не отдали в больницу. Хорошо, что она умерла дома среди своих добродетелей, она улыбается, видишь?

Дитя имеет в виду — доброжелателей. Дочка знает, как я боялась, что бабушке придется умирать в больнице, где она будет чувствовать себя оставленной теми, кого она любит... Она ведь никогда не лежала в больницах.

Я просила Бога: «Господи, когда кончится жизнь моей бабушки Евгении, сделай так, чтобы я сама закрыла ей глаза и чтобы она чувствовала Твою любовь.»

И моя просьба была услышана. Бабушка умирала, глядя на Владимирскую икону Богородицы, перед которой горела лампада. Богородица ответила на ее последний взгляд. Бабушка не смотрела на нас. Она вся собралась в молитве.

Смерть стояла рядом, когда я только появилась на свет. Первую тяжелую операцию — трепанацию черепа из-за запущенного воспаления среднего уха я перенесла, когда мне не было еще года... Потом началось балансирование между жизнью и смертью, растянутое на много лет. Что-то тянуло меня в тьму небытия, что-то или кто-то выталкивал из боли, беспамятства, слабости в пестрый, движущийся, полный радости мир...

Меня некому было беречь в детстве от тяжелых впечатлений, я могла сколько угодно размышлять о смерти и ломала голову над этой загадкой.

Впервые я близко увидела смерть, когда мне было пять лет. Я лежала в больнице в Свердловске. Шла война. Все госпитали и больницы были забиты людьми, поэтому умирающего не увозили в отдельную палату, как прежде, не отгораживали ширмой от живых...

Бывало, что умершая женщина лежала на своей кровати, укрытая с головою, целую ночь в общей палате. И все больные говорили шепотом, ходячие не шаркали тапочками, входили в палату как-то крадучись. Иногда кто-нибудь особенно смелый подходил к мертвой, отгибал простыню на ее лице и смотрел,

приговаривая:

— А лицо-то спокойное, тихое, наверное, покойница правильную жизнь прожила...

Другие в страхе отворачивались, жалуясь, что теперь мертвая будет к ним ходить по ночам. Это общее чувство страха и почтения к смерти завораживало меня.

Я думала, страшно ли умереть? Как это — совсем ничего не видеть, не слышать, не чувствовать? А почему тогда глаза у покойников неплотно закрыты, словно они подсматривают сквозь ресницы? И почему при них говорят шепотом? Чтобы не подслушивали?

Почему к ним относятся по-другому, чем к живым? Живых ругают, толкают, грозят, не боятся обидеть, а к покойникам подходят с таким выражением, словно очень их уважают...

Одна старушка рассказала мне шепотом, что душа улетает из тела, как бабочка из спичечной коробки. Душа машет крыльями, уносится вверх и садится на ладонь Бога, если человек был хороший. А душа злодея камнем падает в ад, прямо в черный фартук дьявола, который страшно хохочет и помешивает кочергой в раскаленной печке, куда он бросает злые души, как куски черного угля...

Я воображала Бога, сидящего неподвижно на пышных белых облаках в сонме голубых, желтеньких, пестрых бабочек. Они танцуют над Ним, как над цветущим яблоневым деревом...

Я не пыталась перестать думать о смерти — ребенку еще не свойственна умственная трусость, дети не ищут спасения в уклончивости: кажется, вот-вот разгадаешь тайну. Образованные больные смеялись над старушечьими выдумками о бессмертной душе и говорили, что умереть — это значит просто не быть. И все тут ясно. Но что такое не быть, я никак не могла себе представить и с трепетом слушала рассказы непросвещенных старушек и нянечек о привидениях, о покойниках и приключениях на кладбищах.

Длинными-длинными зимними больничными вечерами в разгар войны в сибирском городе шли эти разговоры, и они мне врезались в память.

Затаишься, стараешься не дышать громко, не скрипеть кроватью — только бы не вспомнили, что здесь я, ребенок, и не перестали говорить вполголоса в темноте... Свет экономили и в больнице лампочки горели вполнакала или совсем гасли. Бывало, кто-нибудь расщедрится и выставит на свою тумбочку свечу, и вышивальщицы, вязальщицы с рукоделием присядут поближе к маленькому огоньку. Их тени тихо движутся по стенам и потолку, мирные, добрые, совсем не страшные, чье-нибудь лицо вдруг

выступит из темноты и снова скроется, а свеча хлопочет острым язычком с серым хвостиком копоти. За группой сгорбленных фигур окна сверкают от толстого инея, который луна разукрасила голубыми и зелеными елочными блестками. Когда света не было, окна не закрывали шторами затемнения, и можно было сколько угодно смотреть на темные прямоугольники окон, за которыми блистала лунная ночь.

Неужели привидения действительно мерзли на снегу и на ветру в своих длинных белых саванах, когда мы о них говорили? А может быть, они гуляли по земле только в старину, а теперь их нет? Ни одно не заглянуло к нам в окно, хотя я ждала их отчаянно. Старалась не заснуть, боролась со сном, как только могла. Но всегда засыпала, не дослушав до конца очередной страшный рассказ.

Зато днем в мертвый час я могла размышлять, буду ли я после смерти привидением, или бабочкой, или черным камнем... Не хотелось пугать людей по ночам, не хотелось падать в раскаленный ад на скользкий клеенчатый фартук рогатого черта с бородой, как конский хвост. Хотелось лететь в небо наперегонки с дымами и облаками...

Мне уже стукнуло пять лет, а я изо дня в день видела одно и то же: беленые стены палаты, кусок неба в окне, нянечек, сестер, врачей и больных. У меня был туберкулез позвоночника, я лежала в гипсовой кроватке, привязанная к койке матерчатыми лямками. Предметы — тоже одни и те же: тарелка, ложка алюминиевая, фаянсовый поильник с дудочкой, белый, как белок вареного вкрутую яичка. Я научилась есть лежа, поставив тарелку на грудь, и ничего не проливать, не ронять крошек.

Больше нечему было учиться. И от привычки к праздности и скуке меня спасали фантазии и размышления.

Повернув лицо к стене, покрытой неровной побелкой, я могла лежать спокойно, словно уснула, а на самом деле сочинять историю с продолжениями о тараканьем семействе, которое живет в трещине в стене. Трещина была еле заметной, но даже в самый светлый день внутри нее было темно. В этой темноте жил таракан со своим семейством. Он разговаривал с детьми, касаясь усами их маленьких головок. И они в ответ поглаживали его щеки усиками. Они боялись света, но им очень хотелось посмотреть, что такое свет? Отец объяснял, что они сами все узнают, когда вырастут. Но им не терпелось хотя бы кое-что узнать уже сейчас.

Поэтому они одним глазком подглядывали в щель и удивлялись... У них было много приключений. Я их придумывала сериями в каждый мертвый час, и этот страшный час пролетал незаметно и был для меня всегда живым.

Но вдруг эта игра потеряла для меня интерес. Одной больной принесли «Вечера на хуторе близ Диканьки». И теперь мы каждый вечер, дрожа от страха и наслаждения, слушали Гоголя.

Да уж, мертвецы были у Гоголя не чета нашим, больничным! Наши рядом с ними меркли. Они в темную ночь тихо струились над могилами или над пустой дорогой, наводя страх на одинокого позднего путника, они возникали колеблющимися видениями в ночной избе, стучали в окно, сообщая о чьей-нибудь смерти... Самое страшное, на что они были способны, — это приходить ко вдове, приняв облик ее покойного мужа, а когда она, наученная мудрой бабкой, вдруг разгадает обман и сотворит крестное знаменье, мертвец или бес обязательно исчезнет со злобным хохотом.

Совсем уж мелкие бесы хулиганили ночью в избе, как мальчишки: что-то передвигали, топали по потолку, оставляя несмываемые следы, скреблись, скрипели дверьми, дули в лицо или завывали, кликая беду. Иногда бесы обливали водой перепуганную одинокую бабу, оцепеневшую в темноте от страха. Или подсовывали на пути бегущего мужика грабли, которые вдруг стукали его в лоб. Роняли хомут, мирно висевший на гвозде на стене сарая, на старуху, выползшую ночью из избы по нужде... Но главное их занятие было — пугать несчастного путника, сбивать с дороги в метель, заманивать в болото или яму, или — еще страшнее — в заброшенную могилу. И еще развлекались, наводя порчу на девку или молодуху.

Конечно, это было страшно. Но уж если не поддашься страху или тоске, можно от любого, даже самого хитрого и злого беса откреститься. Или брызнуть на него святой водой. А дом можно освятить, пригласив священника с церковным крестом.

Но о таких чудищах, как Басаврюк и колдун у Гоголя, никто из нас и не слыхивал!

Меня больше всего поразили не мертвецы с когтями, вросшими в землю, с длинными бородами и волосами (живыми волосами у мертвых людей! они растут и растут сами по себе!). Конечно, жутко представить себе, как мертвецы со стоном встают из разверстых могил и смотрят пустыми глазницами на лунную реку с замершей на ней лодкой.

Но я боялась даже дышать, когда доходили до того места, где Катерина, обезумев, металась по ночному лесу, и ее волосы путались в ветвях, и души некрещеных младенцев хохотали и катались в широкой крапиве. Эта широкая крапива! Она стелилась коврами, и по ее серебряному от луны ворсу катился страшный визжащий клубок...

А я — кто? Я, оказывается, тоже младенец. Потому что

немладенцами становятся, когда исполнится семь лет. А мне только пять. А я — крещеная? Если я умру, то попаду к некрещеным младенцам? Почему меня не крестили? А может быть, все-таки няня меня крестила? Не хочу визжать в крапиве по ночам!..

Когда я ходила, это было всего год назад, я видела травы и деревья, знала крапиву, ела щи из крапивы и боялась обжечь босую ногу, когда играла в прятки... Но всего за год лежания в больнице представления о крапиве и березе стали смутными. Детских книжек с картинками у больных не было. Поэтому я могла вообразить что угодно о «широкой крапиве». Голубоватая прозрачная душа Катерины, которую вызвал колдун, была для меня гораздо реальнее, чем крапива.

2

У Гоголя и у моих сопалатниц было одинаковое отношение к миру. В нем все существовали рядом: люди, русалки, домовые, черти, ангелы... За каждого человека, большого, маленького, старого, молодого, хорошего и плохого, шли сражения у ангелов и бесов. Человек мог, оказывается, сделать выбор: или отдаться своей страсти или желанию и попасть во власть нечистого, или пожертвовать страстью и обратиться за подмогой к ангелу-хранителю, самому Богу, к святому или старцу. И тогда спасение приходило немедленно.

Конечно, такой мир был гораздо богаче и интересней, чем холодный, необитаемый мир тех, кто вечно спорил, утверждая, что Бога нет, нет и ангелов, нет нечистой силы, нет души у человека. Есть только тело с печенкой, селезенкой, сердцем — моторчиком, мозгом — главной конторой. И жизнь — это работа печенок-селезенок. А чего нельзя потрогать, взвесить, рассмотреть, — одни выдумки!

И я чувствовала себя оскорбленной, как бы ограбленной, когда ученые женщины торжествовали в споре. Они говорили, что Гоголь все придумал, потому что он — писатель. А у писателей в голове одни фантазии и верить им нельзя. Смерть — это только обрыв жизни, как обрыв нитки или бинтика. В этом обрыве — конец, и больше ничего нет.

Ничего!

У Гоголя и у простодушных женщин, окружавших меня, мир был устроен не только гармонично, но и разумно: жизнь человек проживает не зря, не для того, чтобы стать кучкой червивого праха, удобрением для трав. А для того, чтобы многому научиться и многое узнать для дальнейшей жизни, когда душа оторвется от тела. Все понятно! Человек рождается маленьким, слабым, и чтобы он выжил, нужны заботы и труды других людей. А когда он вырастает, — сам трудится для своих детей, для других людей, учится их любить. И после смерти все эти труды не теряют своего значения, а благодаря им, душа продолжает жить. Радость или скорбь станут ее уделом — это и есть результат наших усилий... Получается, что я сама строю свое будущее существование: полет в синеву наперегонки с облаками или падение на клеенчатый черный фартук страшилища в кошмарном злобном аду. Бог светится любовью, в аду кипит вечная ненависть...

Думать об этом было так интересно, что я перестала сочинять истории о тараканах.

В гипсе спина болела меньше, чем на полу в избе, до

больницы, я уже не кричала от приступов, спина просто ныла то сильнее, то тише, я плакала, когда менялась погода, и боль, как ночная мышь, начинала меня точить.

Одна больная сказала мне по секрету:

— Хочешь, научу тебя унимать боль?

Еще бы! Я очень даже хотела!

— Я научу тебя тайным словам. Ты их будешь повторять, когда тебе особенно больно, и тогда полегчает. Но это поможет, только если ты никому никогда не скажешь этих слов. Если скажешь хоть одному человеку, волшебные слова навсегда потеряют лечебную силу!

Она понимала, что ей может грозить, если я разболтаю, что она меня учила молиться. Но велика была ее доброта, она взяла верх над страхами. А я обрадовалась, что у меня будет моя собственная тайна, да еще волшебная!

Женщина прошептала мне на ухо:

— Запоминай! «Отче наш, иже еси на небесех...», — повторяй, запоминай.

Слова были такие непонятные, я их никогда ни от кого не слышала... И я поверила, что они — волшебные. И действительно, они помогали мне перетерпеть ночи, когда все спят, а в темной палате бродят страшные сны и оживают боли. Слышны стоны и вздохи тех, кого грызут их боли-невидимки с железными когтями и раскаленными в аду зубищами...

Да, моя боль пугалась волшебных слов, которые я твердила про себя, стиснув зубы: «Отче наш...»

Мое «я» раздваивалось: одно мое я повторяло волшебные слова, а другое раздумывало и фантазировало. Почему «Отче», а не «Отец»? И кто Он? Почему Он — «наш»? Чей? Что такое «иже» и «еси»? Почему — «на небесех»? Сколько их? «Небеса» были в моем воображении похожи на многоярусную синего стекла этажерку. На самом верхнем стекле сидел, сложив по-турецки ноги под длинной одеждой, Отче, совсем как китаец с качающейся головой, я такого видела у кого-то на комоде. Отче покачивал и покачивал головой, прищурив узкие мудрые глаза. В руках Он держал «хлебнашнасущный» — большую булку, белую, с хрустящей корочкой, посыпанной поджаренными орешками. Мы — длинная-длиннющая очередь из детей и взрослых — подходили к этажерке, протягивали вверх сложенные ковшиком ладони. Отче, приветливо кивая, отламывал каждому большой кусок булки и клал в ладони. Но «хлебнашнасущный» не уменьшался! Булка оставалась целой!

Та, что научила меня тайным словам, говорила, что Отче дает «хлебнашнасущный» только добрым, а от злых отворачивается.

«Но ведь если злой — голодный, и ему не дать хлеба, он еще больше разозлится и отнимет у добрых, — думала я. — А если дать, он съест и все равно будет злиться, что хлеб уже кончился, на завтра не хватило...», — пыталась я вникнуть в проблему отношения к злому человеку и, запутавшись, засыпала... Но боль снова и снова выталкивала меня из сна, и я опять цеплялась за палец Отче, ласково покачивающего головой в темноте. Странно, когда я думала о Нем, мне совсем не было страшно одной среди спящих и я не чувствовала себя одинокой.

Так мы лежали в своей тихой палате, читали Гоголя, болтали и лечились, надеясь, что когда-нибудь кончится наш больничный срок и мы выйдем на свободу... А за стенами шла голодная военная зима.

Нас старались подкармливать, ведь мы были туберкулезниками, а тогда считалось, что туберкулезникам необходимо усиленное питание. Я помню, как однажды я отказалась от какой-то каши, должно быть — всегдашней овсянки, у больных туберкулезом, да еще лежачих, аппетит плохой. Нянечка стояла возле моей кровати с тарелкой в руках и уговаривала меня поесть:

— Слышь, по радио тетка голодная воет: «Хочу-уу хле-еба-аа! Хочу ка-ааши-ии!» Слышишь? Так вот, ешь давай скорей, а то тетка придет и отнимет!

Но я рада была бы отдать воющей тетке мою кашу.

...Радио в палате никогда не выключалось. Вечно ждали каких-нибудь сообщений. И не все люди нуждаются в тишине. Многих больных тишина угнетала, а радио не давало им сосредоточиться на своих бедах. Я привыкла к радио и полюбила слушать классику, арии из опер и оперетт, народные песни. В тот раз, когда нянька пугала меня голодной теткой, по радио пела Русланова. От ее мощного голоса на меня наваливалась тоска, от которой, кажется, сейчас задохнешься или сердце остановится.

Тоска, тревога, безнадежность, усталость переполняли больных женщин в моей палате, и они благодарно любили Русланову, замолкали, лишь только она запоет, и слушали, пригорюнясь.

Мне нравилось то, что нравилось этим женщинам, я им безраздельно доверяла.

Заунывная русская песня связывалась в моем воображении с бесконечными снегами, сумерками над снежным полем, где нет ни огонька впереди, ни надежды согреться и поесть. По такому полю мы шли где-то в Сибири, когда наш поезд с эвакуированными растаял с печальным гудком в вечереющем морозном воздухе. А мы, несколько женщин и детей, остались с

городскими чемоданами на нетоптанном голубом снегу.

Везде, куда ни посмотришь, только снега, бесконечные мягкие волны, белые, наливающиеся синевой. Всемогущие взрослые растерялись, всплакнули и пошли по узкой тропе через поля, изнемогая под тяжкой ношей из чемоданов и младенцев, закутанных в одеяла. Все мы оказались малюсенькими беспомощными живыми существами в огромном снежном пространстве, в тишине. Больше не стучали колеса, не гудела печка, не было ни разговоров, ни плача, ни стен, укрывающих от пронзительного ветра и безмерной пустоты вокруг...

Я шла по следам взрослых ног — глубоким, мне выше валенок. Снег осыпался со стенок следов, валенки быстро промокли. Трудно было вынимать ноги из бесформенных осыпающихся ям, они проваливались снова и снова. А сумерки сгущались слишком быстро, курились верхушки снежных волн — словно сдвигались вокруг невидимые дымные стены ночи... Хотелось упасть и уснуть, но было очень страшно остаться одной здесь, где шуршит сухим снегом ветер...

Больше нет моего родного дома с каменной лестницей на второй этаж, с высоким окном во двор. Окно глядело прямо на песочницу, когда я в ней копалась, строила домики из мокрого песка. Нет дома с кроваткой, застеленной зеленым одеялом. Одноглазого медведя, всегда ожидающего меня на подушке... Нет ящика с игрушками под диваном — сейчас я бы не испугалась темноты под диваном, я бы вытащила ящик сама, сидела бы на полу и играла совсем одна... Как я могла бояться тишины в моей комнате, тени в углу и чьих-то шагов за дверью?..

Теперь мне остался только скрип снега под тяжелыми ногами женщин, их громкое простуженное дыхание. Даже младенцы притихли, не пищат. Скрип снега удаляется, надо догонять, догонять и не падать, а то не будет сил идти...

Больные женщины любили петь. В пении была вся их душа, вся горечь, от этого пения хотелось плакать громко, в полный голос, хотелось вместе с ними выводить тонкий, длинный, куда-то уносящий мотив...

Вот день и кончается. Окна наливаются чернильной синевой, а предметы в палате и лица — сереют, все тускнеет, становится печальным. Кто-то запевает низким голосом, в нем сразу звучат слезы, песня сейчас захлебнется, но тут ее подхватывают другие голоса, и она взлетает, воспрянув, и долго и нежно кружит под темно-голубым от сумерек потолком.

Тоскует о молодой жене ямщик, умирающий среди снегов в степи, тонкая рябина не может прижаться к одинокому дубу, бродяга с Сахалина проклинает свою судьбу...

Опускались черные шторы затемнения: хоть мы и были далеко от фронта, полагалось беречься от невероятных здесь вражеских самолетов. Загоралась голая лампочка на сером проводе в центре потолка, и песни кончались, потому что на своей кровати садилась и раскладывала на одеяле потрепанные карты с серыми краями «гадалка». Сразу выстраивалась очередь. Вокруг вздыхали зрители. У каждой женщины было горе и каждой хотелось узнать — долго ли терпеть и чего еще ожидать на свою голову... Но главное, что всех волновало, — это судьба близких на фронте. Гадали чаще всего на крестового короля или на «вальта». Очень боялись близости к королю или «вальту» пиковой дамы. Дама пик означала смерть. Если зловещая дама преследовала короля, та, кому гадали, расстраивалась до слез. Ее утешали, что карты «врут». Или раскладывали до трех раз. Все равно тревога не оставляла невезучую женщину, и с каким нетерпением она ждала завтрашнего гадания! На засаленные покоробленные кусочки картона смотрели с такой мольбой, с такой надеждой, что они добрели и сулили дальнюю дорогу или важную встречу в казенном доме, что означало: «часть перебрасывают», «к начальству вызвали, может, награду получил?»

Если той, кому гадали, очень уж «не фартило» и она начинала убиваться, плакать, «гадалка» строго ей внушала:

— А ты не плачь! Не прикликай горя! Ты молитву Божьей Матушке читай, Она от тебя беду отведет — Заступница... — и повторяла в благоговейной тишине свою молитву:

—Пречистая Матушка Божья, Мария,
Где ты спала-почивала? —
Я спала-почивала
У Господа Бога за престолом.
Под белою пеленою,
Горела негасимою свечою.
Мало спала, много снов видала:
Нашего Христа распинали,
На головушку дерновый венец надевали,
По ручкам, по ножкам гвозди убивали...
Пошла Матушка Мария во царские двери,
Заплакала-зарыдала.
— Не плачь, Матушка Мария!
Твой Сын третий день на распятьи.
Схорони Его во сырой земле,
Окропи горючей слезою...
И расступится матъ-сыра-земля,
И Твой Сын из могилы выйдет,

Покровы смертные сбросит,
Матушку родную обнимет!

Женщины пытались вспомнить приметы, что предвещали войну. Не могла же она начаться так, без предупреждения, ведь всегда перед большой бедой появляются знаки, которые надо понимать...

«А у нас перед тем, как случиться войне, вот что было. Лежит старший брат на кровати с женой, отдыхают. Жена уснула, а он смотрит — к нему подходит фигура: кто-то лохматый, лица не видать. Подошел и стал гладить брата. И гладит, и гладит... Брат не утерпел, спрашивает: — Ты к худу или к добру? — Лохматый отошел и гудит: - К худу-уу! К ху-уу-ду-уу! - и на другой день началась война.

Брата сразу мобилизовали, он пропал без вести... Где лежат его косточки?»

«У нас Пеструшка, курочка бойкая такая, все по кустам неслась, мать яички искала, ругалась, так эта Пеструшка захлопала крыльями, взлетела на пень от яблони, да как начала кукарекать!

Мать побелела, схватилась за сердце, плачет:

— Ой, что-то будет!

А через час на велосипеде почтариха приехала и говорит:

— Война!

Эти и другие рассказы я записала много позже, тоже в больнице, тоже в туберкулезной, где взрослые женщины лежат подолгу и подробно вспоминают пережитое. Не могла я так досконально запомнить все разговоры тогда, в пять лет. Но об одной беде люди говорят похожими словами.

«Я войну знаешь за что не люблю? Война есть война, но зачем так людей мучили? У нас одна женщина бежала на мельницу, за семь километров, у ней пятеро детей ждало, она бежала муку смолоть. А у немцев машина взорвалась. Они увидели, что женщина бежит через поле, и схватили ее. И потом повесили. Не за шею, а — представляете — за челюсть! Чтобы подольше мучилась!»

— Мужики воюют, а зачем дети страдают? Сколько раз я слышала этот вопрос в дни моего детства, когда в далеком от войны Свердловске женщины рассуждали о войне! Их глаза обращались ко мне, и они подходили, жалели, гладили по голове и задаривали кусочками сэкономленного сахара, обрывками бинтика, коробочками из-под таблеток — кто чем мог. Они считали, что Бог сразу же учитывает все добрые дела и воздает добром. Особенно если сделать что-нибудь хорошее сироте. Ведь

Бог — покровитель сирот! Вот женщина дает мне последний кусочек сахара, и ее мужу или сыну кто-нибудь обязательно даст гостинец. А может быть, даяние матери отведет и пулю от сына-солдата...

Я была богачкой — обладательницей коробочек, бинтиков, бумажек... — всего, во что можно играть. И я научилась без ножниц, ногтями и зубами выстригать из бумаги кукол, наряды для них, мебель и в пустых коробочках устраивала уютные квартиры для бумажных жителей. Сначала я научилась делать кровати — это легко, я ставила кровати рядами — получалась палата. Множество маленьких куколок изображали больных. Из кусочков бинта изготовлялись простынки, подушки и одеяла. На этом игра кончалась. Что может происходить с больными? Все лежат на своих кроватях, укрытые одеялами, и что? Главные события дня: обход, процедуры, еда. Каждый день — одно и то же.

Гораздо интереснее играть в здоровых! Они ходят друг к другу в гости, в магазин, наряжаются в разные платья, у них есть дети... Пестрые (драгоценные!) фантики, невесть откуда взявшиеся, служили в кукольных квартирах коврами и покрывалами. А если удавалось раздобыть кусочки фольги, у кукол появлялся зеркальный шкаф. Мое мастерство росло, и я уже делала куклам резную мебель: диваны и кресла с кружевными спинками. Окна и двери в их домах открывались. Куклы могли сидеть и смотреть в окна...

Больные женщины восхищались, удивлялись и засыпали меня новыми дарами. Так на практике я узнала, что с тоской можно справиться, смастерив что-нибудь такое, что понравится самой и другим...

Когда я вспоминаю детство, ясно вижу, что меня спасла доброта множества людей, с которыми сводила судьба. Больной одинокий ребенок получал любви и заботы не меньше, чем дитя самых любящих родителей. Причем, во многом эта любовь была чище родительской, в ней не было эгоизма. Чужие лица освещались улыбкой — для меня. Полуголодный больной человек отдавал лучший кусок — мне. Его сердце согревала моя радость и его собственная надежда, что Бог видит все...

3

В конце концов война откатилась от Москвы, стали возвращаться домой эвакуированные. Уезжал из Свердловска и медицинский институт, в котором работала сестра отца, моя тетя Лия. Это она случайно нашла меня в деревне под Алапаевском, умирающей от костного туберкулеза, одну в чужой избе, и устроила в больницу. Тетя добилась, чтобы меня перевели в подмосковный детский костнотуберкулезный санаторий для детей железнодорожников.

Не помню, как меня везли в Москву, но зато помню ясно, как мы из Москвы уезжали в эвакуацию. Я тогда еще ходила, и никто не подозревал, что у меня начался в позвонках туберкулезный процесс.

Темнота в вагоне, переполненном встревоженными людьми. Совсем непохоже на мирные, полные света поезда, в которых мы до войны ездили в гости за город. В тех, воскресных, поездах пели песни, шуршали газетами, покупали мороженое у теток с тележками, на которых стояли ящики, полные дымящегося льда. Брикетики эскимо в серебряной обертке или вафельные стаканчики с розочкой из твердого крема на поверхности мороженого, даже на вид сладкого и обжигающего холодом... Дети лизали мороженое и глазели в окна, подставив ветру потные вихры...

А в эвакуационном поезде тревога была плотной, тяжелой, такой, что даже дети не капризничали, заразившись общим подавленным настроением. Не было никаких огней, только красные точки папирос, летающие в темноте от невидимых губ курящего на его колено и обратно. Человек затягивался и ронял руку на колено, и от папиросы вился серый, легкий хвост дыма. Потом за окном долго-долго тянулся догорающий разбомбленный состав. Он лежал на земле или на соседнем пути, а мы ползли мимо. Наш поезд не ехал, а крался, словно прижимался брюхом к земле, чтобы его не заметили сверху самолеты с бомбами. И люди говорили между собою вполголоса и двигались осторожно, как будто старались, чтобы незримые летчики, стремящиеся смешать нас с землей, не догадались, что мы тут близко, беззащитные.

Мне не надо глаза закрывать, чтобы и сейчас увидеть тот разбомбленный состав, похожий на длинного зверя с перебитым хребтом, красные язычки пожара, пробегающие под безжизненными черными вагонами, тяжелую темноту сверху — в ней, возможно, пряталась и наша гибель... Люди вздыхали и говорили, что в догорающих вагонах тоже ехали женщины, дети,

старики, инвалиды и раненые...

Конечно, возвращение не было таким мрачным. Наверное, оно по настроению было даже праздничным, ведь в оживающей надежде всегда светится праздник. Я ничего не запомнила. И как меня везли в моем гипсовом панцире, словно лежащую на спине черепаху?..

Только помню прекрасно, что я не прямо с поезда попала в больницу. Моим тетям пришлось немало побегать и поволноваться, пока они пристроили меня в санаторий. Хорошо, что были они молодые, энергичные и смелые.

...Пока что меня приютила моя еврейская бабушка Брайна в темноватой квартире в Печатниковом переулке. Бабушка была очень старенькая, ходила с трудом и плохо видела, но все время трудилась, держа хозяйство в своих руках. Она жила в этой небольшой, но основательно уплотненной квартире с дочерью и внуком. Им принадлежали две комнатки в разных концах квартиры. Бабушка целый день сновала из своей комнаты, где лежала я, на кухню и в комнату дочери на другом конце длинного коридора. Она никогда не отдыхала. Я ее не видела присевшей хоть на минуту. Ее белая голова то и дело проплывала, светясь в темноте коридора, мимо открытой двери в «мою» комнату. Лицо поворачивалось ко мне, улыбалось всеми морщинами. Бабушка старалась почаще подходить ко мне. И даже просила меня помогать ей. Я, пыжась от гордости, вдевала ей в иголку нитку и чувствовала себя нужным человеком. Только жаль, завязывать на конце нитки узелок я не умела, бабушка сама это делала на ощупь и меня учила...

— Вот видите, — говорила бабушка Брайна всякому, кто подходил ко мне, — это лежит моя помощница, мои молодые глаза! — и все меня хвалили.

Но был человек, которого мое присутствие сильно раздражало, мой двоюродный 12-летний брат Андрей, очень красивый мальчик. Я вытеснила бабушку из ее комнаты, и теперь Андрей с матерью и бабушкой страдали от тесноты. С ним я вовсю «вредничала». Он избегал ко мне подходить, а я хотела обратить его внимание на себя. Говорить ему со мной было не о чем. Я рано заметила, что больные, несчастливые или инвалиды внушают многим здоровым и относительно благополучным людям отвращение с некоторой примесью страха, словно любая болезнь, страдание — заразны и могут перейти к здоровому, внедриться внезапно в устроенную судьбу, как вирус... Это знакомое мне отвращение быстро промелькнуло по красивому лицу Андрея. И не исчезло, а спряталось и прорывалось помимо его воли, заставляя мое сердце сжиматься от обиды. Сейчас-то я

знаю, что это — естественно. Детям легче пожалеть больного котенка или птенца, чем сверстника. Но во мне закипела жажда реванша.

Месть я избрала самую для него болезненную.

Почти каждый вечер черная тарелка репродуктора над моей головой начинала, покачивая белую кружевную накидочку, ронять стекляшки позывных: «Широка страна моя родная...», пауза — и опять стеклянная россыпь: повтор фразы.

Андрей, бросив все свои дела, сломя голову несся к репродуктору. Он жадно ждал новостей, подняв к черной тарелке взволнованное лицо. Какой город сегодня отвоевали? Будет ли салют?

Вот тут-то я и могла, наконец, показать гордецу, что и я не лыком шита, хоть и больная! С последним звуком позывных, перед первыми словами торжественноголосого Левитана я «включала сирену» — начинала вопить самым отвратительным и издевательским образом, выводя рулады, чтобы надежнее заглушить диктора.

Бедный Андрей подпрыгивал от возмущения, махал на меня руками, его красивые черные брови над бархатными черными глазами грозно сближались, даже волосы, казалось, протестовали, шевелились, но я только наращивала звук. Андрей хватал табуретку, лез поближе к репродуктору, он был готов вжаться в черную тарелку. С какой радостью он поколотил бы меня, но нельзя бить бедного, закованного в гипс ребенка, хоть и противного и зловредного... Ничего себе, больная!

Я же торжествовала победу, глядя, как Андрей кипит, стоя на цыпочках на своей табуретке под репродуктором. Я жалела только, что не могу криком сбить его с табуретки, как мальчишки сбивают камнем воробья с забора.

Зато он вечером бежал смотреть салют.

А мне-то как хотелось посмотреть салют!

С улицы слышались крики «урр-ра-аа!», смех и голоса. Пушки рявкали совсем рядом — на Красной площади, но я видела только, как в окне вспыхивало то зеленым, то желтым или красным и гасло, и плыли по небу рваные клочья облаков, постепенно теряющие окраску.

А какой город освободили, мне было неинтересно. Война... Другие города... Сколько бы о них ни говорили, они для меня были нереальны, потому что для шестилетнего человека реально только то, что происходит с ним самим или в фантазии, или рядом, так, чтобы он все видел собственными глазами. И непредставимо то, что совершается где-то далеко, за порогом дома.

У Андрея была бурная взрослая жизнь, совершенно мне неведомая, протекала она где-то во дворе, вне дома. Бывало, что к нему приходили друзья, я слышала их голоса, шаги, мелькали в коридоре их загадочные для меня фигуры…

Взрослый Андрей с семьей эмигрирует в Америку. И больше никогда мы с ним никогда не увидимся…

Загадочное презрение ко мне испытывал кот Дым. Но он презирал всех людей вообще, возлежа на своем троне — большом сундуке в прихожей. Впервые я его увидела, когда меня вносили в квартиру. Я подумала, что на сундуке валяется чей-то пышный меховой воротник. Но мне сказали:

— Посмотри-ка, это — Дым. Кот.

Какой он был важный! Царь котов. Из тех, что называются сибирскими из-за пышной шерсти. Кот Дым… Он действительно был, как струя дыма в морозный день из деревенской трубы, такой же мохнатый и вытянутый, только не ввысь, а вдоль по сундуку. Он мерцал таинственными глазами, он знал какую-то тайну жизни, скрытую от людей. До чего же мне хотелось потрогать его дымную шерсть и поближе рассмотреть пышные бакенбарды, уши, усы, глаза… Но он был так же недостижим, как Андрей, иногда скользил серой тенью мимо моей распахнутой двери и исчезал в темных недрах квартиры. И власти над ним я никакой не имела и ничем не могла привлечь его внимание.

Но меня любила бабушка Брайна! Бабушка Брайна… Каким красивым было ее правильное лицо в облаке белоснежных волос над смуглым лбом… Рассказывали, что в молодости она была чудесной красавицей, сероглазой, с пепельными волосами до пят. Муж не позволил ей подрезать косы, и уход за ними усложнял ей жизнь. Ее выдали замуж в 15 лет за владельца магазина белья в Бердичеве. Он хорошо знал, что он хочет от жизни и от людей. Когда я слышу словосочетание «деловой человек», я сразу представляю деда Марка. Его съедала деловая энергия. Он был полон идей и планов, которые не давали ему жить спокойно. Это был сконцентрированный напор. Но революция лишила его жизнь смысла. Он в бездействии не жил, угасал… Бабушка Брайна родила ему десять детей, ни одного не потеряла, всех вырастила.

Я чувствовала любовь бабушки Брайны, как тепло солнца, батареи, печки, — физически. И боялась потерять ее расположение. Одним своим появлением и доброй улыбкой она могла унять любой мой каприз, развеять истерический накал, который я в себе «раскочегаривала» для очередного нападения на тех, кого я не желала слушаться. Вот кто мне помог потом, в другую эпоху моей жизни, в другом возрасте, понять, что такое «страх Божий». Это просто страх потерять Того, Кто дорог…

4

В таком уединении я провела целый месяц. Лежала и слушала радио, как в больнице — все подряд. Часто по радио передавали фортепианные концерты, и многие короткие пьесы мне казались давно знакомыми, даже родными, они словно о чем-то пытались напомнить, что было когда-то в моей жизни.

Я это была или не я — маленькая, трехлетняя, под роялем в окружении его пыльных пузатых ног? Он так прочно стоял на этих ногах, что я любила под него забираться и воображать, что это мой собственный дворец с колоннами... На рояле играла моя тетя, вышитый мережками подол ее полотняного платья трепетал и колыхался в такт движениям ноги, энергично нажимающей на педаль. Рояль рокотал над моей головой, а пол дрожал и немного вибрировал.

Отец заглядывал в мой грохочущий дворец и смеялся, сверкая яркими белыми зубами, и его перевернутое лицо меня очень смешило. Его очки слетали и падали на пол, он пугался, ловил их и заползал за ними под рояль, но я не отдавала ему очков, потому что было так хорошо видеть его под роялем, словно он тоже стал маленьким и залез сюда играть со мною...

Как я мечтала, вспомнив об отце, что вот вырасту, выздоровею и пойду по земле искать Поле Боя, где он погиб. И найду! Обязательно! И оживлю его! И всех бойцов на этом Поле оживлю! Я видела себя взрослую, красивую, в русском сарафане и вышитой кофте, с толстой золотой косой вокруг головы... Вот иду я тихо, задумчиво по Полю Боя. Оно огромно — от горизонта к горизонту... Над Полем кружат большие черные птицы, и среди истоптанных трав лежат мертвые воины, раскинув руки и глядя в небо открытыми неживыми глазами. Я наклоняюсь, смотрю в каждое неподвижное лицо. Но все они — незнакомые. Я выпрямляюсь и оглядываю Поле: сколько людей полегло! Я спрашиваю:

— За что вы погибли?

— За землю родну-уюу-у, — отвечают смутные тяжелые голоса.

Я беру горсть земли. Она суха, крошится в пыль, развеивается на ветру.

Далеко у края Поля растет могучий дуб, широко расстеливший тень по траве. Я вступаю в эту тень... И вижу — мой отец лежит под этим дубом.

Он лежит, не ды-шит

И как будто спит,
Кудри зо-ло-тые
Ветер ше-ве-лит...

Я встаю на колени перед отцом, смотрю в его лицо, белое, как больничная простыня, неподвижное, мертвое, запрокинутое к небу, и кричу:

— И на кого же ты меня поки-ну-ул?.. Вороненок — черная живая тень — опускается на мое плечо. Я беру у него из клюва пузырек с живой водой. Я брызгаю живой водой в мертвое лицо. Отец открывает глаза и говорит:

— Аахх, как до-олго-о я спа-ал... Спа-аал…

— И спал бы еще дольше, кабы не живая вода...

— Как ты выросла! — удивляется он.

Мы идем по Полю Боя и оживляем всех убитых. Серебряные зерна живой воды летят с наших пальцев, огромное Поле шевелится, вздыхает, даже трава шелестит:

— Как до-оолго-о я спа-ал... До-олго-о... До-олго-о... Спа-аал... Спа-а-ал...

Солдаты отряхиваются от земли, сбрасывают каски и шлемы, ржавые от дождей, снегов, крови... Люди идут... Идут... Бросают ненужные больше винтовки, страшные противогазы с хоботами, копья, мечи, щиты...

Много позже, уже студенткой, мне довелось побывать на Смоленщине, на болоте среди чахлого, больного леса где под сапогами чавкала вода, настоянная на прахе — мертвая. В руках рассыпались, ломались мокрые кости. На пригорке сохла шеренга черепов со страшными рваными дырами, некоторые черепа было трудно вынуть из касок...

Какая тоска, какая горечь напитали здесь все: каждую ветку, каждую каплю воды...

Я побывала еще на одном поле боя. На высоком берегу Днепра. Травы на нем росли редкими пучками, и земля между ними была суха до гула, вся в трещинах. Она походила на больную, покрытую коростой кожу.

Поле только с дороги казалось ровным и просторным — зеленая равнина до горизонта. На самом деле это был хаос заросших воронок, траншей, овражков, бугорков, пригорков, и везде перед лицом моим качались волосатые стебли, летели колючие семена, и тяжелые листья татарника, и веточки чемерицы цеплялись за одежду.

Влезая на осыпающиеся бугры, я видела, как закат постепенно охватывает небо — такой яростно багровый, что мне становилось не по себе. Закат бушевал, словно за полем горел

деревянный город.

Вдруг прямо из-под земли, из-под моих ног неожиданно и шумно взлетела стая воронов. Черная сажа от пожара. Свист множества крыльев. Ржавые голоса.

И снова меня залила тишина, жаркая и пустынная.

Я остановилась, огляделась и поняла, откуда мой страх, почему он гнетет меня на этой древней земле...

Сколько крови здесь пролито... Наверное, каждая крупица сухой этой глины смешана с человеческим прахом. Может быть, притаившись здесь, и мои далекие предки глядели туда, где земля соединялась с небом, ждали: земля содрогнется, выскочат из-за горизонта черные конники, с визгом, топотом налетят, и— не миновать, — задыхаясь, рубить, колоть, отбиваться... Падать под ноги храпящих коней, захлебываться болью, кровью, смертным страхом, ловить взглядом тень птицы в небе, колючку на конце качающегося листа, растворяться в сухой земле, в траве... Что испытывает душа, так преждевременно и стремительно разлученная с телом? Летит? Погружается в сон? В забытье? В муки?..

Как вода в песок, ушли их голоса, их дыхание, их ярость...

Где, под каким холмом лежит мой отец? Разве узнал бы он мои шаги? Он не отличил бы их от чужих, он знал меня другой... Я для него так и осталась ребенком, который целиком умещается в руках и которого надо беречь от всего: от простуды, кашля, от страшного сна, от войны...

И я не смогла бы посмотреть на него теми глазами, которые он так любил, мои глаза тоже стали другими, его лицо отодвинулось так далеко, что потеряло очертания.

Уже через год после разлуки его лицо начало стираться из памяти, сливаться с каждым встреченным добрым мужским лицом.

Первая такая встреча произошла в Сибири, в эвакуации.

Туберкулез разрушал мой позвоночник. Я уже ходила сильно согнувшись, упершись обеими руками в колени. Я была очень слаба, но главное, что меня мучило,— боль. Изнурительная, постоянная, иногда ноющая, но чаще — взрывы и жжение в костях, внутри. Были приступы, когда я уже на кричала и не плакала, а выла, не слыша собственного голоса, только горло саднило. Я искала и нашла средство, как отвлечься от невыносимой острой боли — другую боль, я искусывала свои руки, зубы у меня были острые, раны получались глубокие, из них горячо текла кровь. Тогда меня связали. Я не могла лежать на кровати, только на ровном твердом полу. И меня положили на пол на одеяло, вот по этому одеялу я и каталась со связанными

руками, изнемогая от боли и жара. Кроме туберкулеза меня трепала малярия.

В таком состоянии меня и приютила одна старушка. Она была бедная и одинокая. То ли мои вопли выгоняли ее из дому, то ли она где-то работала, но она оставляла меня в избе одну на весь день.

Однажды я кричала, плакала, каталась по полу, дрожала от холода и вдруг увидела мужчину, военного, рядом со мной, на полу. Он сидел возле меня и держал за руку, он гладил меня по голове, по лбу и щекам, так легко гладил, хотя рука у него была очень большая и тяжелая на вес, я ее покачала в воздухе. Он мне рассказывал что-то длинное, отвлекающее от боли. Кажется, я просила его найти на войне моего папу и сказать, чтобы он скорее приехал ко мне. Я об этом только и думала. Верила, что если папа появится, моя боль сразу пройдет и все будет, как раньше: Москва, детский сад, где дают какао с булочкой на завтрак, а по вечерам я буду сидеть дома под столом, закрытая свисающей скатертью, и устраивать там для кукол квартиру.

Потом женщины, с которыми я попала в эвакуацию, мне рассказали, что военный, державший меня за руку и казавшийся мне настоящим взрослым дядей, был совсем юный лейтенантик — выпускник военного училища. Случайно проходя мимо нашей избы, он услышал мои крики и подумал, что в доме истязают ребенка. Он как-то проник в дом и остался со мною, сколько мог. И отдал мне свой паек: масло, сахар, тушенку, крупу... И ушел. И пропал навсегда. Старушка, моя благодетельница, сказала:

— Это Бог послал тебе андела. Бог сирот не оставляет.

У «андела» было такое белое лицо! Оно в темноте светилось, это я хорошо помню. Зимой в Сибири темнеет рано. У нас в доме горела по вечерам свеча. И ночью хозяйка ее зажигала, когда я, набравшись в темноте сил для плача и крика, будила ее. Она вдруг возникала откуда-то со свечою, высокая, в чем-то длинном и белом, с длинною седой косой на груди и уговаривала:

— Ну ты чо, девка? Голос-то сорвешь, как будешь петь?

Еще она пугала меня:

—Будешь так орать, Баба Яга услышит, придет и сожрет тебя.

—Не сожрет... — отвечала я уверенно. — Я же акрихин пила! У меня мясо горькое. Она откусит кусочек и сразу выплюнет.

— Откусит... — Тебе же как больно будет. У нее зубищи, как пила.

От акрихина даже вода казалась горькой, даже воздух, который я вдыхала... Сама лихорядка боялась этой горечи и не трясла меня по вечерам...

Маленький огонек свечи каждый вечер сражался с огромными

тенями, обступавшими меня. Мне казалось, что тени и были моей болью. Как долго потом я боялась ночных теней... Ведь они грозились разорвать меня, протягивали ко мне длинные, все удлиняющиеся руки, бесшумно и таинственно перемещались.

Только когда ко мне кто-нибудь подходил и брал за руку, тени пугались, съеживались и даже боль утихала.

Когда появился настоящий военный, с твердым мужским лицом, взрослый, пахнущий табаком, тени совсем струсили, притворились добрыми, завели мирный хоровод на стенах и потолке, боль почти исчезла и я смогла выспаться.

Засыпала, просыпалась, а он все сидел и держал мою руку в своей большой и жесткой. Он заплакал, когда я тихо-тихо погладила его по щеке. А я вдруг словно вошла в его мир, не покидая свой, и начала чувствовать за двоих: за себя и за него. У меня была высокая температура, я горела, и кожа болела на всем теле, и мышцы ныли, наполненные сухим огнем, и боль в спине возвращалась толчками. А за него я ощущала, какая маленькая горячая рука легко прикасается к щеке, обдавая жаром...

Щека была колючая, как у моего папы, который сгинул где-то и не мог ко мне прийти. Нас навсегда раз делили толпы встревоженных, усталых людей, гремящие вагоны, холод, снега, тьма за окном, тьма в чужом доме, боль во сне и наяву.

И моя боль, мой страх переливались в юношу, притянутого ко мне жалостью и навсегда оставшегося в моей памяти. Может, только в ней он и живет теперь? Или, вправду, то был ангел Божий?

«У ангела колючая щека... значит, они в раю тоже бреются, — думала я, когда старушка-хозяйка объяснила мне, кто такие анделы, где они живут и как относятся к нам, людям. — Но откуда же ангел Божий узнал про меня и прилетел с гостинцами? Он надел гимнастерку, чтобы его не узнали... Это понятно. Но раз он — ангел, он найдет на фронте моего папу и расскажет ему, что я болею, тогда папа сразу приедет...»

В январе 1942 года мой отец писал своей теще, моей бабушке Жене: «Этот месяц был для меня крайне тяжел, и до сего времени я не могу войти в норму». Ему было трудно на войне, хотя он прежде много раз ездил в экспедиции, бывал и в горах, и в пустыне.

Теперь-то я могу ясно представить себе, что такое декабрь и январь с их морозами и ветрами в землянках, окопах, траншеях... Там нельзя согреться, обсохнуть. Вечно мокрая обувь, сырая шинель, под ногами — каша из земли и снега, не сгибающиеся от холода пальцы, обмороженные щеки... От постоянного холода все время — в напряжении, кажется, все внутри вымерзло: мысли,

знания, мечты, все желания, кроме одного — согреться и отоспаться в тепле...

Все это я прочувствовала, когда в студенческие годы пошла в многокилометровый лыжный поход по брянским лесам, чтобы проверить себя «на выживаемость», не подумав по глупости, что могу обременить других людей. Я скрыла, что у меня был туберкулез позвоночника. Слава Богу — все обошлось...

Лыжные ботинки промокали через полчаса пути. А через два часа в них начинало хлюпать. Остановишься — мерзнешь, белье тоже становится влажным, ветер сразу прохватывает. У костра полегче, но: лицо горит от тепла, от варежек идет пар, а спину продирает мороз... Я думала, каково было в этих лесах зимой партизанам или солдатам, попавшим в окружение. Каждая лесная опушка может быть заминированной. Мягкий холмик снега, брошеная сторожка, лесная дорога, исполосованная следами полозьев и присыпанная сенной трухой,— все, может быть, таит смерть... Опасно разжечь костер, опасно съехать с горки, опасно войти в теплый деревенский дом, где пахнет разогретыми на печке полушубками...

А нам, туристам, было хорошо! Подумаешь, ботинки промокли, руки озябли, рюкзак потяжелел, ноги еле идут... Зато нас ждал веселый ужин в натопленном доме, разговоры и флирт, и даже, может быть, танцы, и незачем особенно спешить, можно не семь дней идти, а восемь, и у нас полно крупы, концентратов, а в деревне можно купить курицу и устроить пир... И весело было наблюдать, как в лесу начинает скапливаться темнота под елями, синеет снег, зажигается серпик молодого месяца, робко затепливаются звезды на еще светлом небе...

А мой отец смотрел на знакомые ему, астроному, звезды из сырой ямы, измученный, и надежды выжить у него не было, и наспех вырытое укрытие ни от чего не защищало, даже иллюзии защищенности не давало, и все, чем он прежде жил, теряло значение... Он еще в ноябре 1941 года писал бабушке Жене: «... возьмите девочку к себе, воспитайте и расскажите правду о маме и папе». Он знал, что сам уже ничего мне не расскажет...

5

Но вот, наконец, я попала в санаторий! Нянечка внесла меня в палату, полную детей. Все головы на кроватях повернулись ко мне, и много голосов сразу спросили:

— Девочка, как тебя зовут?

И я вместе с нянечкой громко назвала свое имя.

— Марианна! Марианна! — полетело по палате, и я обрадовалась, что у меня такое красивое имя.

Палата была светлая и показалась мне огромной. Дети держали в руках настоящие пестрые игрушки и книжки, а в простенке между двух окон стояло черное важное пианино. Я почувствовала себя счастливой. Начиналась веселая детская жизнь...

Одним из первых вопросов, который дети задавали тогда друг другу при знакомстве, был: «А где твой папа?»

Как обидно было тому, кто не мог гордо ответить: «Конечно, на фронте!» Потому что следующая фраза нового знакомца была: «А мой — на фронте! Он — командир!» Я радовалась, что могла с достоинством отвечать: «Мой тоже на фронте! Он тоже командир! Самый главный!»

У нас, пяти-шестилетних собеседников, самое героическое, самое опасное связывалось почему-то с командирской должностью. Как будто простому солдату было на войне легче. Дети стыдились говорить, что их отцы — обычные солдаты. Каждому хотелось украсить своего отца ореолом особенности. Поэтому все придумывали, что их отцы кем-то командуют. Кто был похитрей, хвастал, что его отец — разведчик или танкист. Все завидовали детям летчиков. А на счастливчика, отец которого служил в кавалерии, смотрели, как на героя. Как будто не отец его, а он сам скакал на горячем коне, размахивая сверкающей саблей, в гуще поверженных врагов. Враги валялись, как тряпочные куклы, набитые ватой или опилками. Кровь, раны, крики, стоны, пот, грязь, — этого мы и представить себе не могли. В кино раненых аккуратно бинтовали и тащили к своим красивые, сильные, героические санитарки.

Представление о фронте было у нас романтически-открыточное. Позже, уже старшеклассницей, я писала такие стихи:

...И отцы приходят ночью к нам во сне
С острой саблей и, конечно, на коне!
И, конечно, великаны-силачи.

(Где их лысины и хрупкие очки?).
И, конечно, мчатся, словно ураган,
На трусливого и глупого врага.

Как легко мы, дети, самоутверждались! И зарабатывали себе авторитет за счет страданий наших отцов. Мы хвастались напропалую их выдуманными подвигами и не подозревали, каково им на самом деле.

Не сознавали мы и трагизма собственного положения. Просто жили день заднем, играли, ссорились, плакали от боли или обиды, учились, фантазировали, болтали — жили, привязанные к кроватям, не чувствуя особенного ущерба от своего положения, не думали о своих будущих горбах, хромоте, парализованных ногах...

Ребенок так погружен в настоящее, что будущее для него не существует. Оно может возникнуть вдруг в какой-нибудь заманчивой фантазии, но оно так же абстрактно, как загробная жизнь для занятых своими делами взрослых. Конечно, все дети хотят поскорее вырасти, стать взрослыми, то есть — сильными, независимыми. Но что такое — действительно быть взрослыми, они не знают.

Вот — моя белая кроватка в палате. В головах к спинке кровати привязан конверт для игрушек. Я могу просунуть руку между прутьями спинки и достать мелкую игрушку. Если нужна крупная, приходится просить няню дать куклу или медвежонка, или книжку. Я прочно привязана к кровати, чтобы не прыгала на ней и не нагружала разрушенный позвоночник. От подмышек до колен я в гипсовом лотке. Плечи прижаты к жесткому матрацу «баранками» — мягкими ватными жгутами, к которым пришиты прочные лямки, завязанные на раме кровати. Гипсовая кроватка тоже привязана к раме, а я зашнурована, как ботинок, длинными шнурами в матерчатом корсете вместе с гипсом. Ноги привязаны к кровати «баранками» в коленях и на щиколотках. Головой можно вертеть направо и налево, можно контрабандой подсунуть под голову кулак или свернутое в комок полотенце. Подушки не полагается. На подушках лежат счастливчики, у которых туберкулез суставов...

Мы вечно боялись что-нибудь уронить. Даже сочинили поговорку: «Что на пол упало, то пропало». Придет нянечка и выметет в мусорное ведро упавшую вещь, потому что на полу (всегда вымытом до блеска) много вредных микробов и нельзя брать в кровать то, что лежало на полу. С вещи микробы перепрыгнут на руки, потом попадут в рот, а изо рта в живот и придется делать уколы, чтобы вылечиться от опасных болезней.

Мы ловко перекидывали с кровати на кровать мелкие вещи, угощения. Надо было хорошо нацелиться и так кинуть, чтобы попало прямо в руки или на одеяло на уровне груди, ну, не дальше бедер, ведь если посылка упадет на ноги, все равно ее не достать без мучений: надо стягивать кверху одеяло, а как потом расправишь? Так и будут ноги торчать голые... А уж если вещь шлепнулась на пол, от досады, бывает, и всплакнешь... Ничего не поделаешь, надо бить челом тому, кто ближе всех к упавшей посылке лежит, и если он сможет поднять, пообещать что-нибудь за труды.

Сначала надо было прикинуть, сможет ли кто-нибудь дотянуться до оброненного. Если оказывалось, что дотянуться можно, для чего надо только пододвинуться на самый-самый край кровати и вытянуться, как червяк, то предприимчивый «ближайший» начинал под одеялом тайно, но стремительно выпутываться из всех своих обвязок. Ни врачи, ни медсестры и представить себе не могли, как быстро и ловко большинство из нас могли освобождаться от всех хитроумных пут. Они-то воображали, что без посторонней помощи это невозможно!

Наконец, освободившийся скатывался на самый край кровати, тянулся, тянулся, сползал, рискуя свалиться на пол, но чудом держался на одних лопатках, весь — в воздухе, и все же дотягивался растопыренными пальцами одной из ног до упавшего предмета, хватал — и ура! — все болельщики переводили дыхание и начинали улыбаться и возбужденно болтать, обсуждая детали происшествия и прославляя ловкого «доставалу». Все его уважали и награждали одобрительными взорами и возгласами.

...Но вот я натянула на голову простыню. Я — одна в белом саркофаге. Могу мечтать, думать, разглядывать папину фотографию...

Тем не менее я вспоминаю о своей больничной жизни в Москве, как о череде веселых светлых дней. Как будто в те три года никогда не было пасмурно, не шел дождь, не летели за окном низкие темные тучи, полные снега, не было холодно, сыро, темно, а сияло все время долгое теплое лето, и мы лежали на застекленной веранде и смотрели, как ветер возится во взлохмаченных кронах деревьев, чешет их и ворошит, как волосы, и птицы спускаются на ветки из синевы, качаются, уцепившись коготками, и снова исчезают... Шлепались на одеяло тяжелые усталые шмели, и мы могли их разглядывать, затаив дыхание от страха (вдруг укусит?) и почтения: шмель вперевалку, как медведь, лез по складкам одеяла, казалось, он пыхтит и ему жарко в его шубе с длинным рыжим ворсом, сильно запыленным вокруг головы... Ветер налетал сильнее, катил по деревьям

шумные зеленые волны, и по нашим одеялам пробегали солнечные блики, сверкая на складках, их мгновенно гасили маленькие округлые тени листьев.

Хорошо было летом на веранде!

И ночи были прекрасные, тихие, когда деревья стояли теплые, умиротворенные, они радовались, что прожитый день был такой счастливый, и верили, что завтра тоже будет хорошо. Темнота и тишина устанавливались не сразу. Еще птенцы что-то сонно чирикали в гнездах, а их мамы тоже сонно и коротко отвечали, и мы шептались, засыпая. Наши кровати стояли близко, можно было взяться за руки, повернуть лица друг к другу и пошептаться. Радостно было чувствовать особое доверие и нежность, и радость от того, что тебя слушают, тебя впускают в свой мир, закрытый для посторонних.

Помню, как мы, три семилетние девочки, разговаривали о том, сколько мы родим детей, и спрашивали подошедшую ночную няню, сможем ли мы родить детей, когда вырастем, или нет. Она отвечала, что конечно, сможем. И мы мечтали, какие у наших детей будут имена, одежда, какие волосы, глаза, как мы будем с ними играть...

Мы смотрели в темноту широко открытыми глазами — их приходилось таращить, чтобы не заснуть во время интересного разговора.

Наша детская дружба, бывало, омрачалась нашей гордыней, завистью, честолюбием, мстительностью и даже ненавистью, как это и бывает у живых грешных людей, не наученных считаться с достоинством себе подобных.

Ребенком быть труднее, чем взрослым, дети самоутверждаются откровенно за счет друг друга. Особенно — больные одинокие дети, издерганные, нервные и предоставленные самим себе. В таких детских коллективах клубятся темные страсти, не сдерживаемые ничем, кроме страха перед наказанием и силой.

К счастью, все злые чувства (как и добрые) у детей недолговечны и неглубоки. Жгучая ненависть может смениться пылкой дружбой с бывшим врагом, а прочная, казалось бы, дружба вдруг обрывается, тонет в дрязгах и насмешках. Дети учатся друг на друге всем чувствам, пробуют варианты всех отношений.

Я перешла из взрослого окружения в детское, и это оказалось трудным испытанием. Там я была центром внимания, центром приложения добрых и нежных чувств. Взрослые избаловали меня добротой... И между собой взрослые ссорились гораздо реже, чем дети. Они стеснялись ругаться и в больнице всегда делились друг

с другом передачами. Для детей я долго была чужой — ведь их коллектив уже сложился. Симпатия, вспыхивавшая между детьми, гасла быстро, иногда без причины, просто от смены настроения, от желания покапризничать, почувствовать себя несчастным, незаслуженно обиженным. Для этого требовалось напасть неожиданно на кого-нибудь, кто подвернется, и спровоцировать ссору... Кроме того, дети оказались жадными. Они страшно дорожили своей маленькой собственностью: игрушками, гостинцами, карандашами для рисования, бумагой. А с теми, кому никто ничего никогда не приносил, делились только после долгих упрашиваний воспитателя, огорченного такой черствостью. Зато с человеком, который тоже что-то имел, сами стремились завязать деловые отношения по принципу: ты — мне, я — тебе.

Взрослые же тревожились о своих близких, сочувствовали друг другу и стремились помочь тем, кому особенно плохо.

Дети обычно думали только о себе и зорко блюли собственные интересы. Но дети росли, а значит, менялись и могли научиться любить, отдавать и заботиться о других. Однако этот процесс шел так медленно, а борьба за лидерство, авторитет, первенство хоть в какой-нибудь мелочи была такой бурной и отнимала столько сил, времени и нервов, что три года такого совместного роста иногда походили на затяжную болезнь.

Отношения были нездоровыми. Я взрывалась от любой обиды, от любого, даже мнимого покушения на мою персону и стала агрессивной, раздражительной, жестокой. Жажда мести, вынашивание планов, как наказать, как уязвить «врага»... Первые ожоги самолюбия...-Первые столкновения с предательством, сплетней... Не заметишь, как сама окажешься и сплетницей, и предательницей, и скрягой, а потом стыдишься и мучаешься, но признаться в своих грехах — выше сил... Перестрадаешь всеми скверными поступками, и своими и чужими, как скарлатиной, иногда — в тяжелой форме и с осложнениями.

6

Зимой воспитательница прочла нам «Каштанку» Чехова.

В моей «лежачей» жизни чтение книг было таким же важным событием, как встреча с людьми из «внешнего» мира. Все, что происходило в книгах, врастало в мой опыт как реально мною пережитое.

Читали «Каштанку» светлым днем при веселом солнце, при движении вокруг. Но рассказ о смерти гуся Ивана Ивановича наполнил меня таким ужасом, как будто я слушала об этом в темноте, одна... Все так просто! Ничего необычного: комната, свеча, встревоженные кот, пес и человек, в комнате нет никого чужого. Только гусь Иван Иванович почему-то не спит, а сидит на полу, распластав крылья и раскрыв клюв. Человек уносит свечу с ее маленьким светом, прыгающим по грязным обоям и потолку, и собаке кажется, что в комнате стоит кто-то чужой, невидимый и бесформенный, кого нельзя укусить... И собака, и кот полны тоски.

Вот эта обыденность смерти, то глядящей в темное окно, то стоящей совсем рядом, так, что можно почувствовать ее присутствие, а прогнать ничем нельзя, простая обыденность и испугала меня больше всего. Я привыкла к мысли, что смерть приходит сразу, только когда человек этого заслужил каким-нибудь грехом, как у Гоголя в «Страшной мести». А обыкновенному человеку смерть должна дать знать о своем приходе заранее, чтобы человек успел приготовиться. Знаки ее приближения: таинственные знамения, встречи с покойниками во сне или — долгая болезнь... И если человек не совершил никакого злодеяния, ему не будет особенно страшно. Только неприятно, как перед операцией или болезненной перевязкой... Он же знает, что переходит в другую жизнь.

У Чехова в «Каштанке» нет предчувствия другой жизни, и смерть - не переход, а страшное ничто! Остается только холодный труп с вытянутыми лапами, с оскалом, и все на него смотрят с ужасом...

В таком ощущении мира была своя отвратительная убедительность. Убедительным его делала простота. Значит, и в эту комнату, где лежу я, может ночью прийти она или оно?.. Теперь я не решалась спать с открытым лицом, пряталась под одеяло с головой, чтобы смерть меня не заметила, не узнала, не посмотрела на мои закрытые глаза, чтобы прошла мимо... Я старалась дышать совсем незаметно, чтобы мое дыхание не привлекло ее...

В темноте, когда гасили свет, мне вспоминалось под одеялом самое страшное.

Вот папа увозит меня из Лесостепной опытной станции, где я обычно проводила лето у бабушкиного брата Николая Кузьмича. Только что привез меня и опять увозит, потому что вдруг началась война... Он — в белой рубашке без пиджака. Жарко. Папа держит вожжи, как заправский возчик, нервно понукает лошадку и все время тревожно оглядывается, поворачивает ко мне молодое очкастое лицо, вопросительно смотрит и морщится. Ему жалко меня — он знает, что мне больно, когда телега подпрыгивает на колдобинах... Думали, что где-то ушибла спину. Ничего не знали еще про туберкулез.

Мы едем по узкой аллее, которой нет конца. По сторонам ее стоят кусты с ярко-ярко красной листвой. Мы едем, но словно на месте стоим, у телеги скрипят колеса, но не движутся, лошадь перебирает ногами — но напрасно: все те же красные кусты по обе стороны дороги замерли, задохнувшись в пыли, жаре. Давно не было дождя и в воздухе висит пыль. Она похожа на туман, но в ней нет влаги, плотная едкая мгла затопила мир... Полыхают узкие листья. Больно. Спина болит. От каждого толчка обжигает боль. Тоскливо. Белая папина рубаха слепит, как февральский снег...

А потом — серый город. Серая пыль. Черная штора на окне. Пыльная комната, где вещи вдруг обезумели и выскочили из своих углов, выползли из шкафа, лежат мертвыми грудами... Папа собирает меня в эвакуацию. С кем? Куда? Не знаю. У взрослых свои планы. Я удивляюсь полоскам на окне из пожелтевших газет с блеклыми буквами. В доме напротив тоже все окна в длинных желто-блеклых буквах Х...

А еще — противогаз!

Папа принес домой противогаз и вдруг надел его. На меня смотрела, вытаращившись, резиновая голова с тусклыми стекляшками-глазами, висячим ребристым носом-хоботом. Это мертвое резиновое существо в папином костюме мотнуло резиновым хоботом и — протянуло ко мне папины руки!

Я завизжала так, что у самой уши заложило. Папу подменили!

А он снял противогаз и засмеялся. Он мне говорил:

— Это я! Я! Смотри же на меня!

Но я боялась его весь день: вдруг он опять превратится в того, без человеческого лица!.. А лежащий на стуле противогаз только притворился безобидной вещью. Он мог ожить, прилипнуть к чьему-нибудь лицу, когда захочет...

Папа унес противогаз в коридор.

А там висели рядом с нашей дверью страшные черные пальто с длинными пустыми рукавами. В рукавах прятались невидимые руки. Они всегда пытались меня схватить, когда я с воплем бежала мимо них в кухню к папе или няне, если они там задерживались и не было сил больше ждать.

В больнице меня мучили кошмары.

Снилось, как я вслед за эвакуированными женщинами лезу под поезд, чтобы перейти на другие пути, где стоит наш вагон с нашими вещами и теплой печкой. И вдруг поезд надо мною дергается, колеса бесшумно крутятся, что-то лязгает над головой. Сейчас меня разрежет! В лицо бьет колючая угольная пыль. А за пазухой у меня хлеб. Жалко, пропадет! Лучше бы я его съела...

Я кричала от кошмаров каждую ночь, всех будила, и меня увезли в изолятор и стали лечить бромом и покоем.

Когда кошмары прошли, мне приснилось, как я бегу по большому лугу к «тетиолесиному» дому. Там окна открыты, освещены и гремит рояль. Уже темно, я бегу по темной траве, бегу все легче и легче, потом лечу, не касаясь земли, лечу над травой и могу, если захочется, погрузить в нее ноги, как в прохладную ночную воду...

От того ли, что счастлива, я лечу? Или счастлива от полета?

Меня переполняет радость, как летучий воздух — довоенный воздушный шар. Я поднимаюсь над крышей дома, где плещется музыка, а небо оказывается летним, синим, с легкими ватными облачками...

Но дребезжит стеклянная дверь изолятора, гремят колеса столика, на котором медсестра везет термометры и лекарства, что-то звякает — медицинский неприятный звук, предвещающий укол или какую-нибудь другую напасть. Чужие жесткие руки суют мне под мышку ледяной термометр...

Я открываю глаза и вижу больничное, еще полное непроглядной тьмы окно, белый потолок с голой резкой лампочкой.

По контрасту с летним сном грубо напоминает о себе зима с ее длинным темным утром и острыми набегами холода: от термометра, от воды в тазу, от распахнутой форточки и даже от жесткого, как картон, перекрахмаленного полотенца...

7

И все же в изоляторе мне было хорошо, потому что я обнаружила однажды, что умею читать, и теперь у меня всегда был рядом источник радости с растрепанными листами и бледными скупыми картинками...

Открытие, что я умею читать, я сделала неожиданно в палате, когда соседка дала мне посмотреть картинки в своем новеньком букваре. Я их внимательно разглядывала. Вот мальчик куда-то идет с флагом в вытянутых руках, девочка играет с кошкой, мама поливает из кувшина воду на сложенные ладошки малыша... Я всматривалась в буквы и — узнавала их. И вдруг прочитала слова!

Когда мне было около четырех лет, отец стал учить меня азбуке. В тоске я стояла перед стулом, на котором отец складывал из картонных букв: па-па, ня-ня... Как это было скучно! В награду я получала что-нибудь вкусное, если узнавала буквы. Такой простой способ дрессировки, казалось бы, ничего не давал, кроме отвращения ко всякой учебе.

А потом — война, эвакуация, болезни. Все, что было в довоенной жизни, постепенно растаяло в памяти. Только иногда выплывали какие-то эпизоды, как забытый сон.

И вот оказалось через три года, что те уроки в предвоенной жизни, которая как будто снилась, а не была, не пропали даром. Я могла прочесть все, что было в букваре. Ура! Соседка по кровати, владелица букваря, сначала не поверила, что я умею читать. Ведь ей принесли букварь потому, что ей уже исполнилось семь лет и осенью у нее начинались школьные занятия. Мне тоже немного оставалось ждать семи лет — всего осень, зиму и весну, мне тоже обещали купить букварь и подарить на день рождения...

— Ты не читаешь, ты по картинкам догадываешься, что там написано! — сказала соседка. — Так каждый дурак может. А ты попробуй, без картинок почитай! — И она кинула мне в кровать какую-то книжку без конца и без начала, истрепанную, как мочалка. Слова в ней были написаны не длинными строчками, а столбиком.

Я, неожиданно для самой себя, медленно, но громко прочитала:

В синем море волны плещут,

В синем небе звезды блещут.

Это было так прекрасно, что перехватило голос. Я немного подождала, чтобы волнение улеглось, и стала читать все подряд. Я почему-то решила, что читать надо вслух и непременно громко.

Не догадывалась, что можно — про себя. У меня от возбуждения голос звенел, я почти кричала и очень скоро всем надоела. Но я не могла остановиться, расстаться с этой волшебной книжкой, с ее запахом — пыльной бумаги, с буковками, которые так пелись, кричались, так очаровывали... Попробовали отнять у меня книжку, но я начала реветь, скандалить, спрятала книжку под одеяло и готова была скорее расстаться с жизнью, чем с нею. Тогда меня просто вывезли в изолятор вместе с моей драгоценной книгой и оставили в покое.

Я могла наслаждаться, сколько хотела. Я несколько раз прокричала все сказки Пушкина, напечатанные в этой книжке, пока совсем не охрипла. Сам процесс чтения доставлял необыкновенную радость. Я читала все более бегло, запоминала стихи наизусть, словно катилась с высокой горы, и вера моя в свои силы укреплялась. А музыка стиха захватывала воображение, чувства, как та, настоящая синяя волна из синего моря, и уносила под огромное ночное небо, на котором звезды блещут. И обиженную напрасно царицу, летящую вместе с ребенком в темной и тесной бочке неизвестно куда, было до слез жалко. Какая радость, что все хорошо кончилось!

Мое бессилие, бессилие человека, уже два года буквально привязанного к кровати, было побеждено. Я попала под власть могущественного, таинственного владыки — Слова, и это наполнило меня гордостью. Как скучно принадлежать только себе — своим потребностям и желаниям. Как прекрасно принадлежать тому, что выше меня — Слову, Духу, звездам, идеям!.. Я не имела возможности наслаждаться внешними впечатлениями, движением, сменой форм, цветов, запахов... Я нашла другой источник счастья: музыку стиха.

Для меня стало реальностью очарование слова. Открытия шли одно за другим. Я как будто пробовала слова, держала их во рту, отдаваясь играм воображения. Вот слово гром! Г — это что-то, надвигающееся издалека, уже угрожающее, потом тянется, перекатывается долгое, гулкое рррррр-рр... И завершается все вздохом: о-ооммм! Вздох глубокий, всею грудью, с гулом дождя по железной крыше дома в Лесостепной. А как прелестно слово капля! К — это проклюнулась влажная, светящаяся почка на конце ветки за окном. Потом она росла, растягивалась: а - ааа. И, наконец, — сверкая, летит вниз: пля!

Я лежала одна, читала все, что мне давали, и смотрела в окно на ветку дерева, на тающие в синеве облака, на птицу, осмелившуюся погулять по карнизу, и счастливей и богаче меня не было человека на свете. Ведь я теперь по-другому видела и облака, и ветки, и лица людей. Все оказалось полно тайны. Все

можно назвать, и от этого в предметах, явлениях, людях проявляется иная их суть. Вот ко мне приближается лицо медсестры, густо-густо-чернобровое, с большой родинкой на щеке. На верхушке родинки растет кустик черных жестких волос, на носу видны поры, а белки глаз покрыты красными тонкими жилками. Но глаза — живые, влажные, что-то в них светится, светится, они смотрят на меня из какого-то другого мира, смотрят тревожно, вопросительно, они спрашивают: «Ты кто? Ты какая?»

А я шепчу: «мед-сестра». И воротничок платья выглядывающий из ворота халата, — тоже из другого мира, в этом мире меня никогда не было. Мне очень любопытно его узнать, но я никогда не узнаю. Медсестра впускает меня в свой мир только на несколько секунд, я не успеваю ничего рассмотреть, дверь захлопывается. Глаза гасят вопрос, смотрят отчужденно, сухо, ворот халата застегнут, сестра протягивает мне тарелку с кашей. Ее лицо далеко от меня, как луна, затянутая облаками. И мне грустно от этого превращения.

Зато музыка слова щедро открывала мне себя и щедро отдавалась. Я пела стихи, говорила вслух и про себя, и они щекотали мне горло. Я засыпала и просыпалась со стихами на губах, и во сне я их пела и сочиняла сама. Жаль, что они забывались, когда я просыпалась, оставалось только ощущение счастья и печали...

8

Нельзя сказать, что до этого я не знала стихов. И стихи и песни в больнице учили во множестве. Мы дружно распевали и «Тень-тень-потетень, выше города плетень», и «Снова замерло все до рассвета», и «Кипит наш разум возмущенный».

Особенно трогательными нам казались стихи и песни о несчастных детях. Одно из таких стихотворений я читала «с выражением» на каком-то утреннике:

Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька,
На детском личике заметна
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней — молчит в ответ,
Как будто ей не семь, не восемь,
А много-много горьких лет...
И вдруг, как будто ветер свежий
Пройдет по детскому лицу,
И, оживленная надеждой,
Она бросается к бойцу.
И, глядя ясными глазами,
Защиты ищет у него:
— Они ломали руки маме!
— Убей их всех, до одного!

Хотелось тут же схватить винтовку — и в бой! Я представляла себе очень ясно ужасную картину, как дюжий немец-солдат ломает руки слабой маленькой женщине, как кричит и плачет испуганный ребенок... И от ненависти скрипела зубами.

Мы все яростно ненавидели немцев.

Наша ненависть питалась множеством стихов, песен, рассказов о мучениях детей и взрослых героев. Наслушавшись их, мы кипели праведным гневом, и все, как один, хотели быть героями. В нас рождалось стремление к мученичеству. Мы приучались к мысли, что быть героем — лучше всего на свете. И, конечно, считали себя способными совершить великий подвиг.

О, если бы мне сказали тогда, что во мне течет немецкая кровь! Что родной отец моей мамы, мой дедушка — немец... Что я стала бы делать? Наверное, никто не стал бы со мной дружить. Меня бы дразнили и били. Наверное, я бы изобрела деление немцев на хороших и плохих, причислила бы себя к хорошим. Но

все же во мне поубавилось бы ненависти, я бы поняла, что не все немцы — враги. Наверное, я чувствовала бы себя виноватой и скрывала бы свою тайну, как потом, в школе, скрывала, что отец мой — еврей, хотя моя фамилия Машбиц громко заявляла об этом.

Как коварно желание быть не хуже других! А голос совести такой тихий, еле слышный и неразборчивый... Как идти против всех, защищать то, что все ненавидят?

После бабушка Женя рассказывала мне о еврейских погромах, которые были в Саратове в ее детстве. Ей было тогда 4-5 лет. Но все врезалось в память.

Ее отец, мой прадед, жил в центре Саратова на втором этаже просторного дома. Первый этаж занимал магазин, которым он владел. Семья была старообрядческая.

В день погрома во всех окнах бабушкина мама с няней выставляли старинные иконы, опускали шторы, и в широкой темной передней, и на лестнице, ведущей в магазин, тесно сидели, прижавшись друг к другу, на узлах с одеждой и постелями черноглазые дети, женщины и живописные старики в ермолках и с пейсами. Их приводила няня на рассвете, еще затемно, вела проулками через двор и черный ход. Они сидели молча, перепуганные дети не плакали, старики не кашляли, женщины не шептались. Казалось, они боятся дышать, чтобы их не услышали. Бабушка Женя с братьями смотрели в щелку, отодвинув край тяжелой шторы, вниз, на улицу.

Там текла возбужденная толпа, в воздух грязными брызгами взлетали пьяные выкрики, мелькали палки, железные прутья... Там был жаркий ветер, швыряющий пыль в стекла, тяжкий топот грубых сапог, темные пятна пота на ситцевых спинах...

Бабушка Женя рассказывала, как от страха она начала вся дрожать и убежала от окна, спряталась под стол, в темноту, низко опустив угол бархатной скатерти.

А няня приговаривала у окна:

— Вот радость для нечистого! Вот его пожива! Черти-то в аду от радости скачут!

Бабушкин брат, тринадцатилетний Гриша, ученик гимназии, отличник, козыряя перед няней своим, только что обретенным атеизмом, ворчал:

— Откуда ты, няня, знаешь, чему рады черти? Никаких чертей нет! Это все выдумки!

— Если бы да не было... А кто же этих дуроломов подзуживает? — горевала няня. — Кто толкает на всякое злое дело?.. А ветер-то, ветер какой горячий, я давеча шла, так лицо обжигает, словно не из степи, из ада ветер... Черти крови

жаждут...

Маленькая дрожащая девочка под столом, моя будущая бабушка Женя, верила няне, а не Грише, хотя ей очень хотелось, чтобы никаких чертей на самом деле не было. Но кто же насылает безумие на всех этих больших, сильных мужиков, кричащих в пыли внизу?

А потом — пролетит полжизни, и дочка бабушки Жени, моя будущая мама, приведет к ней знакомиться своего избранника, черноглазого, живого, веселого еврея.

А он представил ее своей семье.

В квартире в Печатниковом переулке был накрыт стол на сорок персон. Родители, шесть сестер с мужьями и детьми, три брата с семьями, приезжие родственники разговаривали, жестикулировали, смеялись, ели и поглядывали на светленькую невестку с фарфоровым румянцем на нежных щеках.

Бывшие маленькие девочки, присутствовавшие на этой встрече, мои двоюродные сестры, рассказывали мне, что моя мама показалась им красавицей, потому что была светленькая, хрупкая, такая... нездешняя...

За столом сидела большая семья, много молодых, здоровых, энергичных людей — врачи, инженеры, биологи, литераторы...

В 1933 году старший брат моего отца отдаст свою комнату в Сверчковом переулке молодоженам — моим родителям... А в 40-х годах бабушка Женя, рискуя свободой, будет подкармливать зека — того самого брата, бывшего литературоведа, бывшего «красного профессора», а в лагере — сапожника...

Сестры отца спасут меня от гибели в 1942 году...

За столом, накрытым на сорок персон, завязывались узлы судеб...

А что касается немцев...

У бабушки Жени на столе лежали две тяжелые линзы с наклеенными на обороте картинками — память о ее жизни в Германии. На одной картинке — сельский, на другой — городской пейзаж.

В глубине толстого стекла такими объемными, живыми кажутся деревья, дома. Переменив наклон линзы, я могла устроить рассвет над городом или полем. Из-за гор, кудрявых от лесов, выкатывалось солнце. Склоны гор теплели, деревья радовались... Блики заката я могла зажечь в окнах опрятных домиков с башенками, с красными крутыми крышами. Я разглядывала в линзах чужую прекрасную страну и мечтала сделаться крошечной, как мошка, и улететь туда, к чистым белым домикам. В них живут, наверное, добрые люди, как Карл Иванович из «Детства» Толстого...

А бабушкины книги из Германии... Готический шрифт, тонкая бумага, гравюры, которые так интересно разглядывать, — чего только там нет: и замки, и сады, и дамы в длинных платьях...

В толстом конверте лежали фотографии, которые я подолгу разглядывала. Вот моя семилетняя мама, длинноногая, высокая, стоит в группе разношерстной детворы от четырех до десяти лет. Все худые, одеты бедно. Это дворовые ребятишки, с которыми она дружила в Берлине. Она очень быстро выучилась говорить по-немецки и говорила правильно. Своих дворовых друзей она увлекла игрой в театр, и эта группа на выцветшей нерезкой фотографии на самом деле — труппа. Я не знаю, показывали ли они свои спектакли кому-нибудь или просто сами для себя наряжались и что-то представляли в квартире, которую снимала бабушка Женя.

В Германии была инфляция, люди жили голодно. Бабушка Женя устроилась на работу в советское торговое представительство, получала зарплату в долларах и могла себе позволить подкармливать дочкиных друзей. Для этих детей в их ветхих одеяниях с обвисшими подолами и с заплатами на штанах настоящим праздником была возможность завернуться в белую тюлевую накидку с подушки и воображать себя принцессами или, надев на голову алюминиевую кастрюльку, взять в руки палку-меч или нож для разрезания бумаги с фигурной длинной рукояткой и превратиться в рыцарей — защитников прекрасных дам.

Рыцари и принцессы окружают на старой фотографии длинноногую девочку, мою будущую маму, немку-русскую.

Неужели эти маленькие рыцари с изможденными личиками через пятнадцать лет надели настоящие каски, а, может быть, и черные мундиры с черепом на рукаве? Стали обыкновенным «пушечным мясом», и их погнали в мою страну завоевывать ее.

Но не только примитивный национализм находил в нас, детях, благодатную почву. Классовая ненависть и пролетарская гордость тоже хорошо привились и пышно расцвели.

Следующий эпизод, тоже связанный с фотографиями, произошел уже на севере, у бабушки Жени, когда я училась в четвертом классе. Ко мне пришла одноклассница Верка, дочка шофера из пожарной команды. Я показывала ей семейный альбом:

— Вот мой дедушка.... Вот они с бабушкой продают ромашки. Это бумажные цветы, их делали студентки и продавали, чтобы собрать деньги на лечение бедных студентов, больных чахоткой. Видишь, у бабушки через плечо лента с надписью: «Борьба с чахоткой».

— А почему у твоего дедушки погоны? А вот здесь у него китель белый! Ишь какой, богатый, наверное. Он что, белый офицер? А сейчас он где живет? — Верка смотрит на меня подозрительно. Вот, оказывается, где враг окопался!

Я перепугалась:

— Да он давно умер! Мама еще маленькая была... И вовсе он не офицер. Он студент-железнодорожник. У студентов-железнодорожников и сейчас форма с погончиками. Помнишь, из техникума из Ухты Петька приезжал? Наши мальчишки посмотрели на его черную шинель с золотыми пуговицами и тоже захотели учиться в железнодорожном техникуме...

— А-ааа... — Верка многозначительно прищурилась. Ей, наверное, было обидно, что не удалось узнать страшную семейную тайну и разоблачить меня. Она хоть и пришла в гости, но почему-то ненавидела меня, и я это чувствовала и пыталась победить ее ненависть.

— Я знаю, — сказала Верка, подумав, — студенты и гимназисты все были из богатеньких... У них вон какие лица, у всех твоих родственничков: чистенькие... И одежда — кружева да новенькие мундирчики... Сразу видно, что не из простых.

— У дедушки отец-инженер умер, когда ему было пять лет. И мама его одна растила, больше не вышла замуж.

Она хоть и в кружевах и перчатках, а работала в кондитерском магазине. Мода была такая... Кружевная.

— Ну да, работала! Так я тебе и поверю! В таком пальто, с зонтиком, и работала? Да она барыня, сразу ясно! Продавщицы такими не бывают. Вот наша тетя Рая разве ходит с зонтиком и в лакированных туфельках. В магазине грязно, селедкой воняет, там не покрасуешься, и холодно, дверь-то всю зиму нараспашку... Продавщица ходит в ватнике и в фартуке клеенчатом, и руки у нее в селедке... А у твоей прабабушки и маникюр, наверное. Барыня она, и белье ей домработница, наверное, стирала. И веника в таких пальчиках не держат. И все твои родственнички — барчуки!

— И вовсе нет! Бабушка и ее братья, которые в мундирчиках, потому что все они тут студенты, — все они тоже сироты. Они жили очень бедно. Учились и работали. Их без отца осталось семь детей с неграмотной матерью. Но они так хорошо учились, что их в гимназии освободили от платы за учение и дали работу — готовить к урокам богатых учеников-двоечников. Бабушка начала работать в десять лет!

Но Верка недоверчиво фыркнула и отбросила альбом. А я от страха предала всех своих родных. Я бы предпочла, чтобы с семейных фотографий вместо всех этих умных, красивых,

интеллигентных людей смотрели бы дикие лица со следами пьянства и невежества...

Больше я не показывала семейный альбом своим одноклассникам.

Кроме национализма и классовой ненависти, отравляла нашу жизнь шпиономания, которой и я заразилась в конце концов. Источником заразы для меня оказалась книга про шпиона-дедушку, который прятал свою шпионскую рацию в погребе, а провод от нее провел в ножку стола. Все думали, что этот дедушка хороший и очень любит сироту — свою внучку-отличницу. И вдруг эта девочка повесилась. Дедушка ходил едва живой от горя, все его жалели, но это оказалось притворством. Умный следователь доказал, что дедушка сам повесил несчастного ребенка. Внучка полезла в погреб за картошкой, когда дедушка связывался по рации с фашистами. Он схватил девочку и повесил, чтобы она никому не рассказала, что он — враг.

Эта книга меня перепугала. Ведь моя бабушка была осуждена по подозрению в шпионаже! Она смеялась и говорила, что ее «дело» называется «пшик» и что многие люди пострадали по «пшику».

Но я провела обыск, и в ящике шкафа под носками нашла завернутые в бумажку два золотых зуба.

Ни в ножках стола, ни в ножках стульев никаких проводов не было. Это меня немного успокоило. От крышки погреба в кухню тоже не тянулись никакие замаскированные провода. Вот она, крышка, из таких же точно досок, как весь пол в кухне. Вот тяжелое железное кольцо, чтобы за него поднимать крышку погреба. А там, внутри, я была с бабушкой Женей и видела только картошку, бутыли с ягодами на пыльных полках, банки с кислой капустой и солеными грибами... Там, внизу — пыль, влага, холод... Никаких секретов бабушка в погребе не держала.

Но чьи это зубы, почему они спрятаны под носками?

Я обшарила все углы. В столе нашла пачку писем. Там все было только про меня, как я ползаю, что говорю, как дергаю за хвост кота... Ничего шпионского.

Все-таки почему эти золотые зубы завернуты в бумажку? Что-то за этим кроется... Оказалось это — бабушкини зубные коронки, которые она попросила доктора снять и сделать взамен железные, чтобы никакому дураку не захотелось ее из-за этих коронок убить.

...А в эвакуации в Сибири мне пришлось страдать за то, что я — москвичка. Там ребятишки давали обидные прозвища эвакуированным москвичам и показывали свое презрение.

— Вы, москвичи с... войну затеяли! — гневно говорил мне какой-нибудь сопливый абориген и махал перед моим носом кулаком. — Всех бы вас — к стенке! Из пулемета: тах-тах-так-так-так-так!..

Я помню какой-то бесконечный пол в большой избе, который я мыла, постанывая от боли в спине. Туберкулез потихоньку тлел и разгорался в костях. Помню какого-то тяжеленного капризного младенца, я его нянчила, таскала на руках. Он не хотел ходить сам и оглушительно вопил, как только я пыталась спустить его на пол, чтобы дать отдых вечно ноющей спине...

И ведро с водой, плещущей на ноги... Я тащила его на огород, скособочившись. Там грядки были — до горизонта. Ведро за ведром... И тихонько плакала от отчаяния, что огород такой большой, а ведра — невыносимо тяжелые. Потом картошку надо было окучивать. После нескольких ударов тяпкой о землю ее уже не поднять , а боль в спине звереет... Но нельзя отдохнуть, нельзя никому пожаловаться — побьют...

Другой хозяйкин сын, постарше, был горбатый мальчик. Он на мне вымещал свою обиду на жизнь. Однажды он меня столкнул с печи, куда меня послали достать новый веник. Я упала спиной об пол. А он смотрел на меня сверху и смеялся:

— Горбатая будешь, как я! Горбатая москвичка!

От удара я не могла не то, что вскрикнуть, вздохнуть. Пол словно ринулся мне навстречу, когда я летела вниз, и на нем я долго корчилась, пока восстановилось дыхание.

Помню, что когда я попала в больницу, меня отучали от привычки быстро втягивать голову в плечи и поднимать над ней скрещенные руки, чтобы руками принять удар, когда ко мне кто-нибудь подходил погладить по голове или что-нибудь дать. Так отпрыгивают бродячие собаки от протянутой к ним внезапно руки... Кроме того, мне пришлось отвыкать ругаться матом.

И еще одно тяжелое, почти кошмарное воспоминание о моем горбатом хозяине. Казнь гусеницы.

У меня жила в спичечной коробке гусеница Катя. Мне было совестно держать живое существо в плену, но уж очень хотелось увидеть волшебное превращение гусеницы в бабочку. Я беспокоилась: хватает ли ей воздуха, не слишком ли ей темно, тесно и жестко. Сделала подстилку из самого мягкого листика. Оставила щелку для воздуха — фортку, в которую нельзя протиснуться, но дышать — можно. Я держала коробок в кармане и поминутно опускала туда руку, щупала коробок и тут же вынимала, подносила к уху, слушала таинственный шорох... Срывала самые сочные на мой взгляд травинки и листки и засовывала их в коробок, чтобы гусеница ела, толстела и быстрее

превращалась в бабочку. Иногда я пыталась угадать по шороху: уже бабочка там или еще гусеница. Я мечтала о моменте, когда вдруг открою коробок и больше не увижу гусеницы — двоюродной сестры противного червяка.

Вместо нее, ползающей по увядающим листкам, на волю выпорхнет бабочка с большими крыльями, она полетит, а я буду бежать за нею по траве...

— Чего это у тебя? — заинтересовался мой горбатый хозяин, заметив, что я что-то держу в кармане рукою.

— Гусеница в коробочке. Она скоро превратится в бабочку

— Давай сюда! — он вывернул мне руку, разжались сами собою пальцы, и коробок выпал ему под ноги.

Мой мучитель позвал двух мальчишек, и они, хихикая и поглядывая на меня, как я буду реветь, казнили гусеницу на большом камне. А я стояла столбом, оцепенев от горя, ненависти и бессилия.

В Москве в больнице мы с девочками тоже выводили бабочку из гусеницы, но у нас не получилось — коробок однажды оказался пустым. Гусеница ухитрилась выползти и потеряться на щелястом полу веранды...

Когда я в шестнадцать лет должна была получать паспорт, бабушка Женя, настрадавшаяся от своей немецкой фамилии Гербст, устроила совещание с сестрами моего отца, которые, в свою очередь, приняли много невзгод за еврейскую фамилию Машбиц. И они дружно решили, что я должна взять девичью фамилию бабушки Жени - Вехова иначе не видать мне высшего образования, никакие способности не помогут. При этом вспомнили множество печальных историй талантливых детей знакомых и родственников имевших несчастье носить непривычную для русского уха фамилию.

Так я стала Веховой.

9

Сообщество детей не обходится без лидера, как и стадо животных, как стая птиц...

У нас долго тянулась «эпоха» хитрой ходячей девочки Тайки. В свои десять лет она умела разжечь склоку и устраниться, когда в разгар страстей ворвется воспитатель с испытующим взором и обличением на устах. Кара всегда доставалась не Тайке, а ее очередной жертве.

Тайка торжествовала, довольная своей изворотливостью. Она морочила нас своими сексуальными фантазиями, устраивала ночные танцы и бои подушками, подбивала лежачих вставать из гипсовых кроваток — что строго каралось, потому что могло свести на нет результаты долгого, кропотливого лечения. Я не участвовала в бурной ночной жизни только потому, что так крепко спала, что меня невозможно было разбудить. Все самое интересное ночью говорилось и пелось шепотом, танцы исполнялись на цыпочках, подушки летали, как пузатые духи, бесшумно. Я ничего не видела, не слышала, не знала, но по утрам весь пух, бумажки и потерянные полотенца оказывались под моей кроватью. Улики были против меня, и мое неведение выглядело как особое упорство и лукавство. Поэтому наказание следовало незамедлительно.

Тайка веселилась.

Палата молчала.

Тайка получила громадную власть над нами. Она не терпела ничьих дружб, стремилась их разрушить, испортить. Она натравливала девочек друг на дружку, разжигала ссоры, плела искусные интриги. Еще лет пять после выписки из больницы я вспоминала Тайку с ужасом, она мне снилась, и я боялась проснуться и увидеть ее в своем доме с этой ее ухмылочкой, словно она знает про меня что-то стыдное, тайное, такое скверное, что если рассказать людям, все от меня отшатнутся. Я эту ухмылочку ненавидела.

Я помню Тайкино худенькое личико с большими скулами и острыми черными глазками-угольками, ее черную блестящую головку, в которой было что-то змеиное... Не часто я встречала людей с разрушительным темпераментом такой силы. Наверное, Тайку сильно раздражало наше неповоротливое простодушие, наша детская глупость. Вероятно, ее добольничная жизнь была полна таких впечатлений, о которых мы не имели ни малейшего представления. Она явно развилась раньше нас, и мы были для нее неподходящей компанией. Таким детям, опережающим свой

возраст в опыте или развитии, нужен равный им друг-соперник, нужен авторитет. В другом окружении нашей Тайке не удалось бы испытывать свои силы в интригах и утверждать власть над малышней.

Тайка была моим смертельным, могучим врагом. Не знаю, почему я ее раздражала больше всех, но это было так.

Мы лежали и лежали в своих гипсовых кроватках, а Тайка проворно шкандыбачила на костылях по коридору, свободно выходила из палаты и входила с таинственным и важным видом, словно узнала в коридоре что-то необыкновенное.

Ах, как нам хотелось побывать в том волшебном коридоре! Оттуда являлись к нам на свидания родственники с воли. Иногда у медсестры в волосах блестели капельки дождя или растаявшего снега, когда она входила в палату, быстро пробежав по коридору от входной двери, еще вся овеянная ветром, веселая от движения и розовая, со свежими щеками. Когда дверь открывалась, тем, кто лежал к ней ближе, видна была красная ковровая дорожка и туманная даль больничного коридора...

У нас было множество занятий.

На музыкальных уроках мы пели песенки и учились играть на инструментах, на которых можно играть лежа: на бубне, трензеле, цимбалах, губной гармошке.

Нас учили шить мешочки, обшивать и обвязывать носовые платки, вязать крючком, плести коврики и корзинки, делать искусственные цветы. Все это могло пригодиться в жизни. Многие из нас должны были остаться инвалидами, а что за жизнь без какого-нибудь интересного дела...

Однажды воспитательница сказала, что скоро будет праздник Победы, потому что война вот-вот кончится: наши войска идут по Германии. Нам пора готовиться к великому празднику!

Мы с радостью стали готовиться. Учили стихи и песни, подходящие к случаю.

Но главным номером нашей палаты была песня о маках. Мы должны были петь ее и сами себе аккомпанировать на наших бубнах, трензелях и губных гармошках. А в конце — только воспитательница повторяла мелодию на пианино. Нам же следовало поднять руки с бумажными маками, которые мы сами сделаем, а ходячая Тайка соберет букет, обойдя все кроватки. Букет она отнесет к портрету товарища Сталина, увитому алыми лентами.

Недели две мы делали маки. Не сразу они стали получаться хорошо. Надо было вырезать из гофрированной красной бумаги лепестки. Из зеленой — листья. Каждый лепесток мы тщательно расправляли так, чтобы он стал выпуклым, похожим на ложечку.

На конец проволоки-стебля наматывали светло-зеленую папиросную бумагу, стягивали, отступя сантиметр, ниткой — это был пестик мака. Его обклеивали настриженными черными ниточками — получались тычинки. Потом уже приклеивали один за другим лепестки. Пестик с черными тычинками не должен был далеко высовываться из цветка, но и слишком прятать его в чашечку не следовало. Угадать, насколько высунется пестик, когда прикручиваешь первый лепесток, удавалось далеко не сразу. Сколько приходилось переделывать...

Наконец, узкой зеленой ленточкой из папиросной бумаги, крашеной зеленкой, закрепляли чашечку и обматывали стебель, прихватывая основания зубчатых листьев, приготовленных заранее. Эта работа требовала много терпения и внимания. Чуть поторопишься, и все идет вкривь и вкось, и совсем не похоже на прекрасный идеальный мак, который сделала сама воспитательница. А плохой цветок нельзя дарить товарищу Сталину!

Все липнет к пальцам, перепачканным клеем, теряется на одеяле то проволочка, приготовленная для стебля, то лепесток...

И все же мы сделали много маков!

Провели репетицию и сами пришли в восторг: так красиво у нас получилось.

И пришел праздник Победы.

Весь день торжественно говорило радио и передавало марши и веселые песни.

К нам обещал прийти настоящий боевой командир! Он был ранен в бою, а теперь вылечился, и у него много орденов! Мы очень ждали его. Хотелось посмотреть на живого командира. Не в кино, а прямо в нашем коридоре. Кроме того, многие из нас мечтали спросить командира: «Вы не встречали на фронте моего папу? Его зовут...»

Наконец, нас всех вывезли в коридор. Из всех палат. И малышей, и старшеклассников.

Кровати выстроились вдоль стен в длинный ряд.

Каждая палата приготовила свои номера для большого концерта.

Вот и командир, улыбаясь, прошел по проходу. Он был еще не очень старый и немного прихрамывал. Вот он встал в конце коридора, где пальма распушила листья под большим портретом Сталина. Рядом с командиром встали доктор Ваграм Петрович, все врачи, сестры и нянечки. Воспитательницы, волнуясь, бегали вокруг наших кроватей.

Конечно, я плохо помню, что было на том концерте. Помню только, как мы волновались и ждали, когда придет наша очередь.

Под простынями мы прятали свои маки и боялись их измять. Песня о маках должна была завершать концерт.

Наша воспитательница тревожилась, как бы Тайка не перепутала: надо было поднести букет маков сначала к портрету товарища Сталина, а потом — отдать командиру, потому что он защищал нас от немцев.

И пришел долгожданный момент, когда ударили наши бубны и трензеля, запели губные гармошки, и мы начали:

Вот какие маки!
Вот какие маки!
Красные, большие
В поле расцвели!

Мы постепенно поднимали руки с цветками, и в коридоре становилось все веселее, краснее, и наши голоса крепли:

Налетает ветер,
Налетает ветер,
Тоненькие стебли
Гнет он до земли...

Мы стали размахивать маками, получилось поле маков, волнующихся под ветром.

Воодушевленные, мы продолжали:

Маленькая Майка
Вышла на лужайку...

Из-за кроватей вышла, стуча костылями, Тайка. Она начала собирать цветы, и пока она обходила кровати, мы все повторяли, как застрявшая пластинка:

Маленькая Майка,
Вышла на лужайку.
Маленькая Майка
Вышла на лужайку.

Вот Тайка доковыляла до последней в ряду кровати и «сорвала» последний цветок.

Букет скрывал ее лицо и едва помещался у нее в руке. Ей пришлось теперь идти на одном костыле. Зато цветы очень красиво колыхались от ее неровной походки.

А мы, торжествуя, с силой ударили свободными теперь руками в бубны и трензеля и грянули:

Сталину родному
Собрала букет!

Тайкин костыль, прислоненный к чьей-то кровати, поехал по скользкому полу и с грохотом упал. Но она даже не оглянулась и подошла к портрету Сталина, опираясь на оставшийся костыль и крепко прижимая к себе проволочные стебли наших маков.

Она отдала костыль нянечке, которая стояла к ней ближе всех, обеими руками, покачнувшись, протянула букет портрету. Мы дружно повторили:

Сталину родному
Собрала букет!

Тайка стояла, не шаталась, и мы загремели хором:

— Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство!

Теперь Тайка сунула букет командиру прямо в лицо, она устала стоять на одной ноге без костыля.

А командир взял букет и вдруг заплакал. И опустил лицо в цветы.

Маленькая взъерошенная Тайка стояла перед ним, подняв лицо и разинув рот. Ее серый халат всегда сбивался из-за костылей, на груди и на спине получался мешок, как будто там были горбы.

Тайка совсем не была горбатой, у нее болел тазобедренный сустав и правая нога от этого сильно укоротилась. Ну подумаешь, хромота! А командир, наверное, подумал, что она и с хромотой и с горбами, и ему стало ее жалко...

Как мы были поражены, что настоящий боевой командир ни с того ни с сего, да еще на празднике, да еще перед всем честным народом и перед портретом товарища Сталина, заплакал! Как же так? Он же — взрослый! Он — военный! Он — командир!..

Мы притихли, как мыши.

Но тут доктор Ваграм Петрович улыбнулся Тайке, обнял ее, поцеловал в щеку и захлопал.

И все няни, сестры, врачи, воспитательницы и старшие дети захлопали. Тогда и мы принялись бить в ладоши, и Тайка, раскрасневшаяся и гордая, вернулась к своему упавшему костылю.

— А мой папа никогда не плачет! — говорили мы друг другу, когда нас развозили по палатам.

Наш номер с маками оказался лучшим! Нам дольше всех хлопали!

Нас очень хвалили за маки.

Да, наши маки были совсем как настоящие. Но их никогда не

грело солнце, не качал ветер, в них не забирались пчелы, на них не падала утренняя роса. И живой водой их спрыснуть нельзя, они совсем размокнут, и бумага расползется, вылезет голая проволока и повиснут нитки в катышках клея...

Зато они будут стоять у портрета товарища Сталина на полочке! И все, кто на них посмотрит, скажет, что мы — молодцы, настоящие мастерицы... Может быть, даже кто-нибудь расскажет товарищу Сталину о наших маках... И он очень обрадуется.

Жизнь шла своим чередом.

Позвоночник мой окреп, и мне разрешили вставать. Сначала меня ставили на пол около кровати на две минуты (так кружилась голова, что я не успевала ничего почувствовать), потом — на четыре, на шесть — до десяти минут, и снова: на две, на четыре... (С утра готовишься к великому моменту вставания!). Голова больше не кружится почти, только ноги слабые дрожат, зато все видишь совсем по-другому. Весь мир открывается с иной стороны. Какое блаженство — стоять!

И вот уже я встаю на двадцать минут. Приходит медсестра, развязывает лямки, снимает «баранки» с рук и ног, я быстро-быстро расшнуровываюсь, на меня с завистью глядят с соседних кроваток. Меня вставляют в толстый гипсовый корсет и плотно зашнуровывают. И наконец ставят на тряпочный коврик, который я сама для этой цели сплела. Я стою, ухватившись за холодную железную спинку кровати, рассматриваю заново такую знакомую палату. Оказывается, стоящему на ногах человеку мир представляется совсем не таким, как лежащему. Сдвигаются стены, палата становится меньше и доступнее. Мечты могут сбываться: вот я научусь ходить и дойду до пианино, я сама дотронусь до клавиш... А если кто-нибудь из ребят уронит игрушку, я подниму!

Я научилась ловко елозить на тряпочном коврике вокруг своей кровати, держась то за ее спинки, то за железную раму.

Наступил великий день, когда медсестра вывела меня в коридор! В тот самый, таинственный, бесконечно длинный, где всегда шла деятельная жизнь, откуда слышались шаги несущих нам еду, лекарства, новости, развлечения... В коридоре лежали красные ковровые дорожки, стояла пальма. Какая роскошь!

У меня кружилась голова. Как далеко от стены до стены... А сестра говорила: «А ну-ка, иди сама...» Разве я когда-нибудь смогу пройти такое расстояние? Это казалось невозможным. Пальма в конце коридора расплывалась в моих глазах. Ноги у меня дрожали и подламывались от страха.

И тут, слегка толкнув меня острым локотком, из двери нашей палаты выскочила Тайка. Скользнула по мне с презрением

черным глазом, гордо вскинула голову и лихо заковыляла прямо по середине коридора, по красному ковру. Костылики ее сухо постукивали.

От пояса до колена левой ноги Тайка закована в гипсовый корсет. Белым хвостиком мотается подол рубашки. Больная нога намного короче и тоньше здоровой. Худая, слабая, она беспомощно висит над полом. Правая нога с шиком бьет пяткой в пол, она смуглая, крепкая. Тайка может даже бегать на костылях. Она их небрежно ставит, словно вбивает в пол, и небрежно бросает тело вперед. Она не касается костылей подмышками, она идет на руках. Руки у нее сильные, плечи широкие и приподняты вверх, от этого шея кажется короткой. Но какая она тоненькая, Тайкина шейка! Черная головка вертится на ней, как флюгер.

Эх, если бы мне дали костыли! Я бы тоже не побоялась ходить по середине коридора. А без них... Не на что опираться. Нет, не могу...

Я завидовала Тайке, даже под ложечкой сосало. А Тайку ждала тяжелая хромота на всю жизнь...

Уже через месяц я настолько окрепла, что могла разгуливать по палате, не держась за спинки кроваток. Перестала завидовать Тайке. Костыли больше не были для меня предметом мечтаний. И страх перед Тайкой у меня прошел. А она вдруг стала почему-то передо мной заискивать. И, наконец, пообещала показать мне свою тайну, которую никто не знает. Все в палате уже давно говорили об этой тайне, спорили, даже ссорились, пытаясь угадать, что прячет Тайка под одеялом, что она там подолгу разглядывает, накрывшись с головой и сделав маленькую щелку для света. Редкие посвященные почему-то упорно молчали, краснели и даже отворачивались, когда у них пытались что-нибудь выведать самые любопытные Тайкины недруги.

Я уже была отчасти нездешней, меня готовили к выписке. Я должна была уехать к бабушке далеко на Север. Говорили, что там дома из оленьих костей, покрытые шкурами, и живут в них дикие люди, закутанные с головы до ног в оленьи шкуры. Рассказывали эти удивительные вещи самые начитанные, самые авторитетные люди нашей палаты. Им бы тоже хотелось пожить в доме из оленьих костей!

Они смотрели на меня с уважением, и я вырастала в собственных глазах: я еду жить в дом из оленьих костей! Такой дом, покрытый шкурами, должен быть уютным и тихим, как шалаш в том, полузабытом саду в детстве... Только шалаш был под зелеными деревьями, в нем пахло сеном и жужжали шмели. А дом из костей и шкур, наверное, тонет в мягком снегу, и надо плотно закрывать за собой дверь, чтобы на постель не налетели

снежинки...

Никто из нас представить себе не мог, что вместо домов, покрытых шкурами, я увижу высоченные заборы, а над ними — колючую проволоку в несколько рядов, зловещих солдат в длинных, словно картонных, тулупах на скрипучих вышках, то ли домиках на курьих ножках — жилищах Кощея, то ли скворечниках для Соловья-разбойника, погубителя мирных людей... Встреченные на дороге, эти солдаты были обычными людьми, отцами ребят из школы, куда я пошла учиться. Зато на вышках они превращались в нечеловеков, даже пробегать мимо вышки было очень страшно: вдруг стрельнут? А дома для просто людей оказались совсем обыкновенными, только низенькими, не как в Москве, но выше, чем в деревне...

Бабушка Женя прислала мне с Севера валенки и носки из кусачей серой шерсти, меховую шапочку и варежки. Нянечка принесла и разобрала при мне посылку. Я долго с наслаждением нюхала каждую вещь. Все они пахли путешествием!

В день моей выписки утром Тайка, почему-то смутившись, позвала меня смотреть «тайну» каким-то странно заискивающим голосом. Оказалось, никакой тайны нет. Обычные сексуальные выдумки. Кое-кто из детей занимался этим, других не захватывало, третьи боялись, потому что все знали: это нехорошие дела, стыдные. Почему нехорошие и стыдные, нам никто не объяснял, но наказывали строго тех, кого заставали за таким развлечением с самим собой. Обычный детский онанизм вырастал в нашем сознании до размеров чудовищного порока. Запретное манило. Все чудовищное интересно как раз своей чудовищностью...

Я тоже попробовала, но не втянулась в исследование тайн собственного тела, потому что меня захватила другая страсть — чтение. Оно поглотило все мое время и все силы воображения. Я так уставала к концу дня, что засыпала сразу, как только гасили свет. И в «тихий час» стала спать. (Здесь «мертвый час» назывался «тихим», чтобы дети не пугались: уснешь и умрешь).

А Тайка с ее темпераментом, независимостью от мнения взрослых, незанятостью ума погрузилась в свои сексуальные переживания всерьез. Ее ничто не отрывало от них. Но новизна впечатлений иссякла и она стала искать партнеров...

Разочарованная, чувствуя себя обманутой, я сбросила Тайкино одеяло с головы и громко сказала, что никакой тайны нет.

Бедная Тайка злобно посмотрела на меня, сузив блестящие от слез глаза, и отвернулась к стенке. Так рухнул ее авторитет.

Вместо торжества я испытывала смущение и тревогу. Мой

злейший враг лежал, отвернувшись ото всех, и был он маленькой искалеченной девочкой, которую дома никто не ждал, которой никто не припасал к выписке шерстяных носков и красивой шапочки. Никто не приносил ей гостинцев. Медсестры иногда покупали ей что-нибудь вкусное из своего скудного заработка, и мы, сытые домашними приношениями, уступали ей свой кисель или печенье от полдничного чая...

10

Сестры, няни, воспитательницы, врачи — все прощались со мной ласково, словно я была им родной. А я-то сколько их мучила! Не слушалась, плохо себя вела, «доводила до белого каления»...

Я больше никогда не увижу лицо доктора Ваграма Петровича? Смуглое доброе армянское лицо с мохнатыми седыми бровями... Когда я в первый год на осмотрах вздрагивала и вскрикивала от его прикосновений, он почему-то виновато уговаривал: «Ну, потерпи, дружочек, мне надо узнать, как у тебя идет дело на поправку...»

Так и запомнила его, склоненного надо мною или внимательно разглядывающего рентгеновский снимок, или идущего по палате на обходе, когда его лицо, обращенное к нам, так и светилось лаской. Да, на нас он смотрел совсем не так, как на взрослых из персонала. С ними он был строг и требователен. Но взглянет на больного ребенка, морщины на лбу разглаживаются, даже колючие заросли бровей, кажется, смягчаются, глаза светятся... Для нас, детей, Ваграм Петрович был красивым и очень значительным человеком, значительным во всех отношениях: всемогущим, большим, сильным, умным, все знающим, важным, вызывающим трепет...

Перед обходом каждое утро бегали встревоженные нянечки, все в десятый раз протирали, поправляли, обмахивали, проверяли: Ваграм Петрович требовал от персонала самого лучшего исполнения своих обязанностей. Сестры контролировали нянечек, все ли сделано, как нужно.

В ослепительном, белоснежном халате, высокий (как я потом удивилась, убедившись, что он невысок!), стройный

Ваграм Петрович входил в палату, как король, в белой шапочке на пышных седых кудрях, коротко подстриженных, но завивающихся, как пружинки. Все сверкало к его приходу, и мы лежали, тихие, слегка ошеломленные торжественностью момента. За королем шла почтительная свита...

Лет через десять, студенткой Московского университета, погожим осенним деньком я взяла фотоаппарат и поехала в свой костнотуберкулезный санаторий, чтобы сфотографировать на память доктора Ваграма Петровича.

От станции шла по светлой асфальтовой дороге, залитой солнцем, мимо длинных больничных корпусов. Мне попадались взрослые больные с палочками и на костылях. Бледная девушка с пышными бантами в торчащих косичках-хвостиках, с алым

накрашенным ртом на бледно-желтом лице медленно проехала в инвалидной коляске. Она пристально смотрела на меня. Может, соображала — к кому я иду? Вдруг мне все стало казаться нереальным: понурые фигуры в серой больничной одежде среди ярко пылающей осенней листвы на пышущем солнцем асфальте были чужды этому нарядному дню, предназначенному для веселого и легкого праздника на природе... Или день им был чужд потому, что они не радовались ему? Дети умели радоваться и сиять вопреки болезни, они были полны ожидания чуда, поэтому чудо солнца, листвы и ветра принадлежало им во всей полноте. Это я увидела, подходя к знакомой веранде.

Цо еще раз инвалидная коляска проплыла мимо, сверкая колесами, и резал глаза ее облезлый дермантин и смертельная бледность сидящей в ней девушки...

Помню, когда-то я сильно завидовала одной девочке в нашем отделении, которой разрешали ездить в такой коляске, потому что ноги у нее парализовало. Все мы мечтали покататься в инвалидной коляске. Особенно нам нравилось, что нужно самому вертеть колеса, и ехать можно, куда захочешь, даже крутиться на месте! Нам казалось, что так передвигаться гораздо интереснее, чем ходить на ногах. Почему взрослые этого не понимают? Едешь себе, кожаное сиденье приятно поскрипывает, колеса шуршат по дороге. И — все блестит!

Я побежала по тропинке к веранде, окруженной знакомыми липами, тополями и березами. А вот и сам Ваграм Петрович идет между детских кроваток по солнечной дорожке, он сразу узнал меня и улыбается навстречу всем своим маленьким смуглым лицом под белоснежной накрахмаленной шапочкой. Он совсем такой же, как прежде, только поседевшие брови не торчат, а нависли над глазами, как снежная крыша над окошечками домика. Теперь я увидела в его лице и печаль, и заботу, и усталость... А как он стал сутулиться...

Он повел меня по веранде и, показывая больных детей, просил их сфотографировать. Но я поняла, что это он им меня показывает, как я свободно хожу, какая прямая у меня спина. Доктор расхваливал каждого ребенка, сообщал, какие у кого таланты. И я вспомнила, что и меня, маленькую, больную, он, бывало, всегда за что-нибудь хвалил и всегда радостно сообщал мне, как быстро я поправляюсь. Он обещал, что я буду бегать! Как я мечтала пробежать по зеленой траве, что видна с веранды. Она кажется мягкой и теплой, она так и светится на солнце. Когда-то я воображала, что трава похожа на ощупь на шерстку моей игрушечной собачки или на ворс зимнего одеяла, который светился, когда на нем останавливался солнечный луч. Я забыла,

какая трава на самом деле. И Ваграм Петрович показывал мне на сияющую траву и говорил, как я по ней побегу: быстро-быстро-быстро... Я представляла себе, как я над ней полечу, слегка касаясь ее верхушек босыми ступнями, чтобы она только щекотала подошвы...

А ведь тогда я вела себя прескверно. Никого не слушалась и доводила самого Ваграма Петровича чуть ли не до сердечного приступа. Например, начну громко петь в «тихий час», когда все только-только, наконец, угомонились. Прибежит нянечка, начнет испуганным шепотом уговаривать, чтобы я перестала, а я еще громче завоплю. Придет медсестра, воспитательница, доктор. У меня сердце от страха готово остановиться, я сама в ужасе от того, что так плохо поступаю и всех раздражаю, но что-то словно несет меня... Властный злой вихрь... И я начинаю все делать назло окружающим. Наконец, меня с моей песней вывозят в коридор. Все в палате украдкой с изумлением наблюдают за происходящим, колесики повизгивают, потолок плывет надо мною, поворачивается, а я ору все песни, какие знаю, подряд. Отделение маленькое, в палатах слышно, что делается в коридоре, особенно в «тихий час», когда все шумы затихли.

Чтобы я всех не переполошила, меня увозили в изолятор, и оставляли одну, закрыв двойные стеклянные двери и еще белую глухую дверь. Мне было страшно. От страха я еще некоторое время бушевала. Умолкала от усталости. Прислушивалась. Стоило мне услышать за дверью шаги или даже шорох, я снова начинала свой концерт, если не засыпала... Самой было неприятно, что смотрят на меня сердито, негодуют, злятся. Я словно испытывала терпение людей: а что вы со мной сделаете? А я все равно не боюсь! Ощущение опасности, ощущение власти опьяняло. Может быть, так брала я реванш за постоянное чувство зависимости от всех, беспомощности, одиночества, боли? Доказывала себе и другим, что я что-то значу и могу? Испытывала свою храбрость? Довести взрослых, здоровых, сильных до того, что они стоят в растерянности, с искаженными от раздражения лицами и не знают, что со мной делать, насладиться своей властью и успокоиться до следующего срыва...

Американский психолог-священник Джон Пауэлл в книге «Почему я боюсь любить?» исследовал состояние умирающих, когда они поняли, что надежды на выздоровление нет. Он определил фазы в их поведении. Вторая, по описанию, очень похожа на то, что было со мной. Тот самый бурный протест: «Я не хочу такой участи! Не могу согласиться!» Это моменты агрессивной ненависти к здоровым, благополучным, остающимся жить... У болеющих тяжело и долго, как я теперь понимаю, тоже

бывают такие состояния, и тем, кто ухаживает за больными, надо это знать и готовиться терпеть. Возможно, так перегорает остаток гордыни, и тогда человек принимае свою участь.

Есть и другое объяснение тому злому вихрю, который нес меня, и я не имела сил остановиться, перестать мучить окружающих. Это был тот темный опыт, через который я должна была пройти и познать его. Мне пришлось испытать и другие дурные страсти: злобу, жадность, властолюбие, жестокость... И потом, в период взросления я или с отвращением отвергала знакомое искушение, или застревала в нем, отчетливо сознавая ему цену и зная, что должна его преодолеть...

Тот, кто сам испытал всяческие нелегкие состояния, пройдя через резкие падения и медленные подъемы, через борьбу с капризами и прихотями своего «я», легче поймет других людей, тяжко одолевающих свой путь через грехи и слабости... Возможно, только тот, кто рос в любви, у кого были мудрые воспитатели или могучая интуиция, благодатный дар изначально сильного нравственного чувства, — только такой человек свободен от злых опытов в детстве?..

А что творилось на душе у взрослых, чью жизнь я вдруг ни с того ни с сего начинала отравлять, а они не могли даже отшлепать зловредное существо, потому что существо это было и без того наказано судьбой: жалкое, маленькое, раздавленное болезнью и тяжелыми переживаниями... Во всяком случае, Ваграм Петрович не переставал верить, что я не озлоблюсь, не переставал меня любить и радоваться, что я расту потихоньку, прибавляю в весе, что у меня округлились щеки и пропадает чернота под глазами.

...Вот его кабинет! Когда-то — святилище, куда нас вносила на руках могучая санитарка. Но прошло два года после моей выписки, и мы с бабушкой Женей без всякого трепета переступили порог обыкновеннейшей комнатки, тесной, с прозаичным конторским столом, некрасивыми казенными стульями и белой кушеткой, покрытой простыней.

И коридор, которым мы с ней шли... Неужели это тот самый, таинственный, роскошный, с ковром и пальмой, невероятно широкий и длинный? Это его я боялась пересечь? Это его стены были для меня так далеко раздвинуты, что голова кружилась от одного предложения дойти от стены к стене? Вот эта чахлая пальма в старой кадочке, та самая, что была деревом моей мечты с пушистым стволом и блестящими кожаными листьями. Неужели именно к ней я так стремилась подойти, чтобы потрогать ворс на стволе и поверхность листьев, и готова была совершить неимоверно тяжелый путь по середине ковровой дорожки,

колеблющейся под ногами? Дорожка тогда казалась бархатной, ее тоже хотелось потрогать. Из окон, всегда полных неба, света, на алый бархат ложились темные крестообразные отпечатки переплетений рам, в темных местах ворс выглядел гуще и еще колючее, чем на светлых...

Оказывается, пальме не хватает в этом больничном коридоре ни солнца, ни воздуха, она еле жива и похожа на блеклую декорацию. А ковровая дорожка выцвела, полысела.

А от стены к стене-то — не больше четырех шагов!

Зато Ваграм Петрович — еще лучше, чем был в моих воспоминаниях. Что за чудо его лицо! Все в нем светится добротой: кустики бровей, улыбка, глаза, хоть небольшие, но как они умеют вдруг засиять нежностью, печалью, мудростью...

Жаль, что студенческая жизнь с ее суетой и жаждой самовыражения так захватила меня, что я не приезжала больше к этому мудрому человеку, ни о чем его не спрашивала, ничего о себе не рассказывала, и фотографии, хоть и напечатала, так и не привезла ему, они до сих пор лежат у меня в ящике стола...

Когда теперь я проезжаю на электричке мимо станции Яуза, где был наш санаторий, мне хочется сойти. Мысленно я пробегаю по асфальту мимо длинных приземистых корпусов к нашей веранде, к шумящим деревьям (какой это был шелковый, какой свежий, волнующий шум!) и увидеть, как между детских кроваток идет по солнечной дорожке в белоснежном халате, в высокой накрахмаленной шапочке бессмертный Ваграм Петрович с его светлой улыбкой...

11

Когда Ваграм Петрович сообщил моим родственникам, что меня можно готовить к выписке, ко мне приехала бабушка Женя. Она хотела познакомиться со мною и спросить у Ваграма Петровича совета, где лучше мне выздоравливать — на юге, у моря или в средней полосе

России. В зависимости от этого она собиралась выбрать место жительства.

Она приехала в Москву на три дня контрабандой, так как ей запрещен был навсегда въезд в Москву, Ленинград, столицы союзных республик, а также в крупные города. Опасной для больших городов она стала в 1934 году 4 декабря, когда, прочитав в газете об убийстве Кирова, сказала за завтраком моей маме: «Как это страшно — политические убийства! Они всегда тянут за собой множество невинных жертв...» Как в воду глядела! Сама же на следующий день, вернее — в ночь, стала такой жертвой, хотя жила в Москве, а Кирова убили в Ленинграде. Она попала в разнарядку «кировского» набора. Отсидев свои пять лет в лагере, она застряла в Коми из-за войны.

Обвинение бабушки Жени формулировалось как «подозрение в шпионаже». Возникло подозрение по двум причинам: из-за немецкой фамилии Гербст и пятилетнего пребывания в Германии.

Бабушка решилась нарушить запрет и приехала в Москву из-за меня. Она боялась каждого милиционера. Она сильно рисковала.

Ваграм Петрович посоветовал ей не уезжать с Севера, потому что юг мне вреден. И бабушка Женя осталась ради меня добровольно там, где раньше была в заключении.

Она смотрела на меня еще ласковее, чем Ваграм Петрович. Она разглядывала меня с восторгом, и я видела, что ей очень нравятся мои глаза, улыбка, нос, брови— вся я нравлюсь, и все мои слова почему-то приводят ее в состояние блаженства. Она так радовалась каждому моему жесту, каждой гримаске, что я почувствовала себя любимой и больше не одинокой.

Я тогда не догадывалась, что мне повезло, как Золушке, у которой крестная оказалась всемогущей феей. В моей смуглой фее, разглядывающей меня с печальной нежностью, был такой запас душевного тепла, что возле нее можно было отогреваться, как возле хорошей русской печки. Вся моя душа так и потянулась к ней. А она на меня смотрела, как на ларец с драгоценностями, который она было утратила, но вновь неожиданно обрела и не верит своему счастью. Я тогда понятия не имела, сколько ей

пришлось перестрадать, пока она получила возможность вот так держать меня за руку и вглядываться, искать в моем лице, мимике, голосе черты своей единственной дочери... Она стала моей второй матерью и до конца своей жизни была мне опорой и радостью.

Не знала я и того, какие отчаянные письма мой отец писал бабушке с фронта: «Заберите ребенка, спасите ради памяти нашей Тамары». Но забрать меня было невозможно. Из-за немецкой фамилии бабушку отправили на лесоповал вместе с другими русскими немцами. Ей удалось чудом застрять в Сыктывкаре, но, подневольная, беспаспортная, бесправная, она никак не могла приехать за мной из Коми в Сибирь...

Я глядела на новую бабушку, неожиданно возникшую из неизвестного мне мира здоровых. Глядела и удивлялась. Под белым халатом, наброшенным на плечи, у бабушки Жени оказалось красивое платье, шелковое, совсем не старушечье. От нее пахло духами. А волосы были уложены блестящими черными волнами. На смуглом лице не видно морщин, носик вздернут, глаза блестят, движения совсем молодые, легкие...

А я-то считала, что бабушки должны быть такими, как бабушка Брайна, — маленькими, сгорбленными, слабенькими, с неуверенной походкой и медленными движениями. Даже мне, привязанной к больничной койке, бабушка Брайна казалась слабей меня. Она так тихо, слабо держала меня за руку... А у бабушки Жени ладонь была крепкая, пальцы — сильные... Из-за того, что бабушка Брайна плохо видела, ее лицо выражало тревогу и беспомощность. Все оно состояло из мелких морщинок. Белоснежная волна волос была собрана в тугую булочку на затылке. Навещая меня, она всегда держала в руках потрепанную сумку, которую торжественно именовала ридикюлем. Честно говоря, этот самый ридикюль был для нее слишком громоздок и тяжел...

У бабушки Жени блестящая сумочка торчала из-под мышки. Она разрешила мне раскрыть сумочку и покопаться в ней. У сумочки оказалась блестящая же внутренность, пахнущая духами. Все, что в ней лежало, тоже пахло духами: белый платочек из тонкой, воздушной ткани с вышивкой в уголке — венок из крошечных розочек. Пенсне в плоском футляре. Я никогда не видела пенсне. Конечно, я попросила бабушку нацепить его на нос и показать, как это выглядит. Я и сама его надела, но ничего не увидела сквозь мутные стекла. Гораздо больше мне понравились блокнотик и карандаш. Их я выпросила себе.

А застежка сумочки сверкала, как золото, и очень громко щелкала.

Когда я наигралась сумочкой, бабушка Женя взяла меня за руку и рассказала, что у меня была мама, звали ее Тамарой, она была добрая, умная и веселая. Когда ей было, как мне сейчас, семь лет, она устроила во дворе театр и показывала представления, а когда научилась хорошо читать и писать, выпускала семейный журнал с картинками. А еще она хорошо вышивала, вязала и шила своим куклам платья.

И бабушка дала мне фотографию девочки с коричневым бантом в волосах. Потом показала мне саму меня в маленьком зеркальце. Я удивилась: у девочки на фотографии точно такое же лицо, как у меня! Только я лежала лысая — меня стригли под машинку.

— Я тоже хочу бантик! — сказала я, ощупывая свою колючую макушку.

— Все у тебя будет,— пообещала бабушка Женя. — И бант, и платье, и блестящие башмачки...

С какой жадностью я разглядывала фотографию своей мамы. Вот она, с большим бантом в волосах, стоит у какой-то белой стены, скрестив тоненькие легкие ноги в коричневых туфельках. Они даже на снимке блестят, совсем новые! Она раскинула руки по белому фону стены — держится за стену или собирается побежать и обнять кого-то? Но смотрит печально, серьезно, как будто знает, что будет с ней, что будет со мной...

12

Историю ее жизни бабушка Женя рассказывала долгими зимними вечерами на Севере, а потом подарила мне ее письма и дневники и даже школьные тетрадки, исписанные готическим шрифтом, и номера того самого семейного журнала, о котором говорила в больнице при нашем первом свидании.

Я узнала, что моя мама родилась в Москве, а в 1918 году, когда ей было четыре года, ее папу — немецкого подданного интернировали в Германию вместе с семьей. Он, мой дедушка, уезжал смертельно больным и умер через два года от диабета в курортном городе Ростоке, где перед революцией умерла и его мама. Она очень хвалила ростокских врачей. И хоть они не смогли ей 'помочь, мой дедушка надеялся, что его они подлечат. Ведь ему было всего 26 лет...

К его смерти и похоронам бабушка Женя возвращалась постоянно. Она его очень любила и после его смерти осталась одна с ребенком в чужой стране.

Бабушка мне рассказывала, как гроб с телом ее любимого мужа стоял в маленькой лютеранской часовне. Горели свечи. Пастор в черной одежде тихо и непонятно что-то говорил. Мой двадцатишестилетний дедушка лежал, свободно вытянув руки вдоль тела и повернув набок бледное спокойное лицо, словно прислушивался к словам пастора, закрыв глаза. Моя пятилетняя мама держала бабушку за палец и шепотом спрашивала:

— А ты положила папочке очки в нагрудный карман? А то он у нас слепенький и не увидит нас с неба...

Внезапно овдовевшая бабушка Женя старалась не плакать, чтобы не испугать девочку.

Я без конца упрашивала бабушку Женю еще что-нибудь рассказать о детстве моей мамы. Мне все было интересно, я готова была помногу раз выслушивать одни и те же рассказы, вглядываться в фотографии, готические упражнения в тетрадях по чистописанию, вчитываться в письма, записочки и дневники. Мне хотелось сложить личность мамы из осколков, чтобы их грани чудесным образом совпали. Конечно, такое заочное узнавание собственной матери совсем непохоже на постепенное узнавание в течение совместной жизни. Но ее бумаги и фотографии были всегда со мною, я росла и все перечитывала, по-новому всматривалась, и в конце концов оказалось, что моя давно умершая мама воспитывала мои чувства, направляла мысли, показывала свое отношение к людям, событиям и к себе... Я училась и на ее ошибках...

Моя мама хорошо знала эту радость — жить. Когда ей было 14 лет, она в дневнике писала: «Все так красиво, чудно! Смех, воздух, воля! Долой шубы, долой последние остатки зимы! Весна! Так приятно ехать в школу, когда в трамвае открыты окна, тепло, весело... В школе уютно и тоже солнечно, светло. Вот звонок. Входит Вася. Что-то говорит, спрашивает, кто-то отвечает. Но я ничего не вижу, не соображаю, только чувствую что-то розовое, светлое, прекрасное. Это солнце, весна! Вот муха ползет по подоконнику, сонная, жужжа расправляет крылья после долгой сердитой зимы. И она чувствует весну, рада ей, наслаждается солнцем, счастьем, собираясь с головой окунуться в это море тепла...»

То же — в девятнадцать лет в письме моему будущему отцу: «Как все прекрасно! Какая изумительная жизнь! Как мне нравится жить и чувствовать, что живу. Может ли быть что-либо поразительней и логичней, чем связь маленького электрона, необъятной Вселенной и меня? Разве не изумительно, что ты такой же, как и я? Что ты видишь то же, что и я, так же желаешь и чувствуешь? И несмотря на это, веруешь иначе, чем я? И сознаешь себя иначе?..»

Для меня удивительно, что моя мама так владеет русским языком в 19 лет, хотя в 11 она почти не говорила по-русски и в первые месяцы после возвращения из Германии мучительно стеснялась своего русского. Она не хотела ходить в булочную за хлебом, потому что не могла произнести: «булка». У нее получалось: «пулька».

А в мясном магазине она как-то стояла у прилавка и повторяла про себя: «Мне нужна мякоть», — а когда подошла ее очередь и мясник спросил: «Что тебе, девочка?», — она смутилась, растерялась, забыла все слова и пролепетала: «Мятиги...»

«Что? Что?» — изумился продавец. Тогда она выпалила знакомое: «Что-нибудь!»

А вот из писем, когда ей было девятнадцать:

«... нос Бэма (такое прозвище было у моего отца, составленное из первых букв его имени и фамилии) высунулся из отверстия спального мешка. Утро его ущипнуло, он быстро покраснел и спрятался обратно. Через несколько минут мешок пришел в движение. Пыхтя и кряхтя, он выплюнул сначала ногу, а потом и всего Бэма. Очень часто внешность не соответствует внутреннему содержанию. То, что внутри соответствовало Бэму, внешне имело вид беспорядочного моточка кофт, телогреек, шарфов. Моточек быстро притоптывал, выплясывая затейливый краковяк и махая руками.

Из пяти мешков вылупились еще пять моточков, изумительно похожих друг на друга, машущих и притоптывающих». <…>

«Гигантский камень выступает далеко в Тиберду. Тиберда с грохотом бросает в него свои валы, стараясь унести с собой вниз, но он стоит упорно, угрюмо и только слегка дрожит. Волны, изредка заливают его. Они, вероятно, заливают его уже много сотен лет, потому что поверхность у него гладкая. Несокрушимый камень попал в тяжелые условия! Кругом рев, грохот, свист, бег потоков, пляска валов. <…> Какая бешеная энергия разбивается о него! А он стоит неподвижно, и чудится какая-то усмешка в его устойчивой и спокойной позе. <…>

Бэм подошел неслышно. Всунул мне в рот печенье и мигом прогнал созерцательное настроение. Может, стоило надуться? Но совокупность многих причин заставила меня передумать. Печенье было не из плохих, утро — не из ранних, а вид Бэма — чересчур комичен. Несколько оболочек он уже успел скинуть, остался в рваной ватной телогрейке, придававшей ему чрезвычайно хулиганский вид. Подбородок зарос щетиной, волосы взъерошены, очки съехали на кончик носа…»

А вот отрывок из письма отцу в экспедицию из Москвы. Он был еще там, в Тиберде, а она уже дома:

«В Торгсине открылся комиссионный магазин. Я зашла побродить и увидела изумительный заграничный вольтметрик. Не вольтметрик — а сказочку! Я его сразу «заобожала». У него шкала красная, желтая и синяя, и весь он — прелесть. Захотела купить, а он знал свою цену: 12 р. 30 коп.! Я так страдала!»

Мой отец всем существом любил ее — она стала половиной его души…

Каким был он, мой отец? Моя девятнадцатилетняя мама описывала его так:

«Я в экспедиции, состою сотрудником в гравиметрической партии. Нас шестеро. Бэм — начальник… Бэму 24 года. Он невысокого роста. Смугл, точно кофеинка. Черные волосы, черные глаза, глаза довольно красивые, если бы не были прикрыты окошками огромнейших роговых очков. Те же очки несколько сглаживают чрезмерную живость нашего начальника, придавая ему оттенок некоторой степенности. А Бэм очень жив и вспыльчив. При разговоре живет все его лицо, живут руки и вся фигура, и кажется, точно даже волосы и очки принимают то или иное выражением.

Их жизнь была полна увлекательных совместных трудов, идей, они жили одним… Мама тоже была астрономом. У нее были большие способности к математике, она увлекалась астрономическими вычислениями, об этом много говорится в ее

письмах. Познакомились они в экспедиции, когда ездили наблюдать метеоритный дождь...

Она написала бабушке в лагерь, как они с моим отцом вели съемку полного солнечного затмения в 1936 году в казахской степи на станции Верблюжьей:

ˆУтром 18 июля стали подыскивать место для установки приборов. Лазили на высоченную водокачку, но там оказалась чересчур крутая крыша. С нами же лазил целый ряд старичков, которые тоже приехали на Верблюжью наблюдать. Впрочем, старички — не астрономы, а доценты и профессоры других специальностей.

Местность — степь-степь-степь совершенно лысая. Станция — малюсенькая: пара домиков всего и юрты казахов. Нам, конечно, страшно обрадовались. А мы — ладили, клеили. <...>

Легли спать часа в два. Наконец наступило утро 19 июня. Уже с четырех часов мы были на ногах, волновались, подготавливались.

Бэм заряжал приборы пленками и пластинками. Когда на диске солнца съелся маленький кусочек справа, мы уже были в степи у приборов — человек около 50. Я работала на специально сконструированном нами с Бэм-кой приборе для определения цвета неба в различных частях (такая работа еще не проводилась и очень интересна). Когда от солнца остался только серп, стали заметны изменения в природе — тени стали резче, птицы начали умолкать и приготавливаться ко сну. Солнце становилось все уже, и в тот момент, когда оно совсем закрылось и вспыхнула яркая корона, все мгновенно и сказочно преобразилось: темно-темно-синее небо, яркие звезды, кругом на всем горизонте феерично-тонкие зори, а на небе вместо солнца — черный диск, окруженный жемчужным сиянием короны, на фоне которой особенно резко выделялись четыре громадных красных огненных языка — протуберанцы солнца.

Было абсолютно тихо. Люди от чересчур сильного впечатления умолкли, птицы, козявки улеглись спать. Только слышно было тиканье часов. Немного погодя стадо коров с ревом бросилось по хлевам. Весь этот сказочный вид, я думаю, забыть невозможно. Но только две с половиной минуты продолжалось это. Через 95 секунд тень Луны, несшаяся со скоростью пули по Земле, успела перейти в другое место. Когда в обратном порядке прошли все фазы покрытия, мы побежали к радио послушать о затмении из других мест. Затем послали телеграмму в "Известия"».

Ей оставалось жить год... Письмо о затмении заканчивалось так:

«Самое позднее через два с половиной месяца приеду к тебе! Напиши, что тебе привезти из вкусных вещей и подарочков, что тебе хочется?»

Пришло письмо в лагерь в Усть-Ухте, где бабушка Женя оказалась в 1936 году.

Бабушке повезло: она любила учиться и у нее была стопка дипломов — об окончании курсов машинописи, английского языка, бухгалтерии... Знание счетной работы ее и спасло: как только она приходила на этап или в лагерь, ее тут же вызывали к начальству и сажали в бухгалтерию. Там хоть и работали по 12-14 часов, зато в тепле, сидя на стуле, жили не в общих бараках, а в отдельном помещении или даже на квартирах у крестьян. В Усть-Ухте контора была не в лагере, а в деревне, и жили конторские в деревенских домах.

Первый раз съездить к бабушке в лагерь моей маме удалось в 1935 году. Бабушка описала мне их встречу:

«В Устъ-Выми медицинская комиссия меня забраковала: «порок сердцам. Из 2-3 сотен отобрали нас человек 12 слабых для этапа. Повели по песчаной дороге по лесу 15 км, дорога шла вверх. На горе мы увидели красивейший монастырь. Меня, конечно, сразу — в бухгалтерию. Назначают главным бухгалтером. Мне неловко, там уже сидят человек, пять пожилых мужчин. Все гораздо старше меня. Наверное, опытные работники... Оказалось — слабенькие счетоводы, а работа сложная. До 12 часов ночи, до часу работаешь. <...>

В июле однажды возчик, который ездил в Усть-Вымь в продуктовые склады, сунул мне потихоньку поздно вечером записку: «Мы в Устъ-Выми. Можно ли тебя увидеть?» Я с этим же возчиком послала записку: «Приезжайте с этой подводой». А сама пошла к секретарю начальника Лафаки-греку. Он был молодой, не злой. Но все равно сердце у меня ушло в пятки... Я ему рассказываю: «Дочка приехала. Можно повидать?» Он пошел доложить начальнику. Я жду ни жива ни мертва. Он выходит, машет рукой: «Разрешил начальник свидание на три дня».

А твои мама с папой прожили со мной 8 дней! Я работала, как всегда, но товарищи выручали: отпускали пораньше, делали за меня часть работы. У нас была среди заключенных настоящая взаимовыручка. Больше никогда не складывались на моей памяти такие братские отношения в коллективе, как в монастыре в Кылтово... »

Потом — лагерь в Усть-Ухте, где было их последнее свидание. Прощаясь, моя мама обещала в следующий раз приехать втроем. Она не подозревала, что на нее надвигается ее собственное солнечное затмение, только без жемчужной короны.

В конце мая 1937 года она писала своей маме:

«Дорогая моя, любименькая! <…> Это письмо придет к тебе вероятно вместе с телеграммой о Таточке (она была уверена, что у нее родится девочка, и называла меня заранее своим детским именем). Совсем забегалась. Такая куча хозяйственных дел! Сегодня я совсем одна.

Бэм уехал с утра в один городишко читать лекцию, вернется завтра утром, и прямо с поезда на работу. Завтра вечером у него снова лекция в Измайлове, так что увижу его лишь в 12 ночи! Он очень много работает. Теперь еще устроился консультантом по высшей математике и физике в Тургеневской библиотеке. Это — два раза в шестидневку и дает рублей 200. Так что у нас финансы более или менее ничего, во всяком случае, наконец-то стало хватать на питание. Я такая рассудительная стала: все записываю, даже ты так не умеешь!!! Но все-таки всюду хвостики торчат… Я теперь лодырничаю. Читаю много по-английски, немножко занимаюсь физикой и пишу статьи — вот и все. Да, сшила я на мебель белые чехлы, очень хорошо вышло, теперь хочу их вышить крестиком, и рисунок подобрала, да ниток нигде нет…»

13

Когда она разглядывала меня в роддоме и радовалась, что у нее появилась дочка, она не знала, что у моего отца уже лежала в кармане бумага из Куйбышевского РО УГБ НКВД о высылке ее из Москвы в Сибирь: «Основание применения репрессии по политическим, мотивам в административном порядке осуждение ее матери Гербст Евгении Кузьминичны 1 апреля 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР по ст. 58 УК к 5 годам лишения свободы, за подозрение в шпионской деятельности».

Он, получив эту бумагу, бросился на Лубянку и добился, чтобы высылку отложили на три недели после выписки из роддома... Что у него было на душе? Как ему удавалось скрыть тревогу, чтобы не омрачить ей праздника возвращения домой?

Она, конечно, ничего не подозревала. Вот письмо уже из дома:

«Здравствуй, маленькая «большая мама»! Сегодня маленькой Таточке исполнилось десять дней... Она необыкновенно хорошенькая, все удивляются, даже говорят, что таких красивых младенцев не видели. Даже советуют дать телеграмму: «Дочь — красавица!^ У нее очень длинные волосики, темно-золотистые (я пришлю в письме), большие, пока серые глазки, ротик бантиком, красный-красный. Цвет лица очень красивый. Жду ответа на телеграмму, не знаю, как назвать Таточку, не Женичкой ли? А то уже пора ее регистрировать...»

Вторая бумага о высылке, уже и моей тоже, пришла через 15 дней, когда мне стукнуло 25 дней.

Моя мама заболела малярией с температурой 40, с ознобами и слабостью. Это в центре Москвы, летом... Я прочла в терапевтическом справочнике, что это — симптомы сепсиса от недобросовестной работы акушера...

Но болезнь не освобождала от высылки.

В таком состоянии — поспешные сборы! Папа уволился со всех своих работ, он даже на минуту не мог себе представить, что высылка его не касается, что он вправе устраниться... Пока он в глазах власти не был «социально опасен», он мог оставить «опасную» жену...

Он ее очень любил. Вот когда любовь стала — к гибели! Самая главная ценность жизни превратилась в угрозу жизни. Надежда Яковлевна Мандельштам, которая на себе сполна испытала все это, пришла к выводу: «... в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей... У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на

собственных интересах и вести систематическую оборону». А мой отец писал маме: «Я живу для тебя, дышу для тебя. Возьми мое я — оно твое».

Мне очень дороги эти признания, они согревают и меня столько лет, как согревали сердце моей матери в те счастливые для нее дни, когда они были написаны... Эта любовь дала мне жизнь, но она же делала моих родителей абсолютно беззащитными перед занесенным над их головами топором системы.

Мои родители искренне хотели строить социализм. Верили, что наука должна служить идее. И вот теперь ехали в ссылку...

Никогда я не могла даже предположить, что придет такое время, когда я смогу взять в руки «Дело» моей мамы и прочесть все бумаги в стандартной канцелярской картонной папке... Прочесть и переписать ее лихорадочное, безумное, наивное письмо-мольбу отсрочить высылку, заменить Сибирь глухой деревней, где живут родственники...

Начальнику УГБ МО НКВД
Куйбышевского района
от Гербст Т. А. и ее мужа Машбиц Б.М.,
прожив. по Сверчкову пер., д. 10, кв.10
ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне, Гербст Т.А., сегодня было предложено выехать в 5-ти дневный срок в г. Омск. Против самого выезда совершенно не возражаю. Обращаюсь к Вам лишь с большой просьбой разрешить мне выехать теперь же на 1-2 мес. (до 10-30 авг.) в деревню Курской области (40 км. от Ельца). Эта просьба вызвана действительной безвыходностью моего положения: 5/У1 у меня родился ребенок. Я сама не оправилась от родов. Благодаря невыясненному пока, по-видимому, родовому осложнению, у меня повышена температура, почти ежедневно 38-40 градусов. Я настолько слаба, что с трудом встаю с постели. <...> Я даже не представляю себе, как я физически могу поехать одна с 3-х недельным ребенком в чужой город без средств к существованию (я нахожусь на иждивении мужа). Муж сможет выехать, лишь ликвидировав предварительно свои служебные и пр. дела. Отказ мне в просьбе вызовет гибель ребенка. У меня от слабости и волнений резко уменьшилось количество молока. <..->

Б деревне Мещерско-Волынское на Лесостепной станции (Курская область) я сумею поправиться, т.к. там живут мои родственники, которые возьмут на себя уход за ребенком и за мной. <...>

Настоятельно прошу Вас выполнить мою просьбу. Вы мне верьте, что она вызвана действительно безвыходным положением

и что Ваш отказ для меня равносилен гибели, а также гибели ребенка.

Я, Гербст ТА., и мой муж Машбиц Б.М. согласны взять любое обязательство о нашем выезде в г. Омск после предоставленного мне Вами отпуска — фактически, декретного.

<…> О моем лихорадочном состоянии известно районному врачу Чистопрудной районной поликлиники тов. Шульц, которая меня осматривала. Еще обращаю Ваше внимание на то, что мне нельзя лечиться никакими лекарствами, т.к. они переходят в молоко и приносят вред ребенку. Единственным методом лечения меня являются отдых и уход.

Глубоко надеюсь на то, что Вы поймете мое положение, что не откажете мне в этой просьбе и дадите мне и ребенку возможность жить. Надеюсь, что не задержите ответа, т.к. каждый день пребывания в Москве, а также ожидание ответа вызывают все больший упадок сил.

21/VI 37 г.

Гербст. Муж ее Б. Машбиц.

Внизу письма — другим почерком:

РЕЗОЛЮЦИЯ:

«По рассмотрению т. Леденса предложить выехать в Омск.

4/VI-37 г.

Леденс».

Даже по почерку и по стилю письма видно, какое безнадежное отчаяние ею владело. И какой-то Леденс решил нашу судьбу.

Много раз я вместе с папой мысленно шла с этим письмом сначала со Сверчкова переулка на Лубянку, потом — обратно. Я чувствовала за него — как дома и булыжники мостовой, и трамвай, ползущий мимо, — все стало сразу чужим, жизнью, из которой он был изъят, может быть — навсегда.

Словно взяли и палкой перебили костяк жизни. Все разбито. И хочется бежать от опасности, спрятать любимых, беззащитных…

Как жаль, что у них не хватило духу бежать, жаль, что они были такие законопослушные… Можно было вызвать «Скорую» и положить нас в больницу, можно было потихоньку уехать в деревню, кто стал бы искать?

Такое отчаянное письмо… Мольба к бетонной стене, у которой расстреливают всех подряд, не разбирая возраста, пола, вины…

Я горевала над этим письмом, пока не поняла, что Бог — милостив. Он — не «тов. Леденс», Он видел, что творится в сердце несчастной женщины и жалел ее. И простил ей все. Даже то, что за этим письмом последовало… Он ее пожалел и принял, я

в этом уверена.

Конечно, я пыталась представить себе, как они добирались до места ссылки. В Омске, в большом и благоустроенном городе, их никто оставлять не собирался. Им было предписано следовать в маленький городок Тару, а оттуда... Бог знает дальше куда. О подобном мучительном пути я прочла у Н.Я. Мандельштам. Только мои родители были не вдвоем, а с грудным младенцем. Ехали они гораздо дальше места мандельштамовской ссылки — Чердыни...

Для моей двадцатитрехлетней мамы испытание оказалось не по силам. Высокая температура по вечерам, изнурительная лихорадка, ей ведь поставили диагноз «малярия», слабость после лихорадки такая, что трудно поднять руку, трудно сжать пальцами чайную ложку. Я знаю, что такое малярия. А тут еще полная безнадежность, чужой холодный городишко, нет жилья, работы, в магазинах — пустые полки.

Грудной ребенок — это забота о пеленках, кормлении, о сне... А какая пытка — каждая кормежка младенца, когда вся грудь в трещинах, распухает и гноится и даже прикосновение рубашки к ней так болезненно, что трудно удержаться от стона. В дороге не уберечься от инфекции. Так моя мама мучилась со мною в прокуренном вагоне и на палубе грязного суденышка на глазах чужих людей и терзающегося собственным бессилием мужа.

После тяжелейшей дороги, которая длилась почти месяц и вымотала все силы, — вот он, город Тара. Место ссылки.

Наверняка все было там похоже на мандельштамовскую Чердынь: «жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам...» Каждые три дня — отмечаться у коменданта: ставить печать на бумажке, которая заменила все документы. Комендант наверняка из той же когорты, что ставил печать на бумажку, выданную Осипу Эмильевичу Мандельштаму: «Это был человек гражданской войны... Он всегда прислушивался к своему классовому чутью... а это к добру не приводило, ведь никогда не угадаешь, на что оно толкнет...»

Каково моей больной матери было стоять в этих очередях к коменданту, которые выстраивались раз в три дня у конторы, где властитель судеб решал в соответствии с указаниями классового чутья, кому жить, кому умереть.

Эта очередь, где все говорят шепотом, все подавлены и измучены тяжелым бытом, неизвестностью, нищетой... И — неприязненные взгляды проходящих мимо местных жителей, которым не нравится это скопление лишних ртов в их бедном городишке. Наверняка — всякие реплики, может быть, и угрозы...

Чердынские ссыльные — знакомцы Мандельштамов

поставили перед собою цель: «сохранить человеческое достоинство» .

Однако Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич оставляли за собой и право ускользнуть от своих мучителей в ...«самоубийство»: «Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня...»

И эта же мысль все больше овладевала моей мамой. Ей казалось — это выход! Для нее он был тем привлекательней, что она хотела спасти моего отца и меня от тягот своей участи. Она думала, что она — тот камень, который тянет на дно всю семью... Ее любовь и ее гордость восставали против жалкой участи в дремучем захолустье такого талантливого ученого, каким был мой отец. Она видела, что он здесь надорвется, пытаясь прокормить нас с нею, будет страдать и гибнуть. Любое бремя он был готов взвалить на свои плечи ради нее, а она не могла принять такую жертву.

Прежде чем окончательно решиться, она упрашивала его оставить ее одну в ссылке и уехать с ребенком, пока тепло и не начались дожди и холодные ветры. Он писал об этом дяде Ване, ее дяде, доброму, религиозному человеку:

«Оставить ее? Я ее люблю больше жизни. И не могу так подло поступить...»

Она послала моего отца на почту — посмотреть, нет ли письма или телеграммы от бабушки Жени или дяди Вани. Он боялся оставить ее, потому что она была на себя не похожа: то металась и плакала, то замыкалась в себе, молча сидела у окна, за которым куры ходили по мокрому огороду. Но она стала так надрывно плакать: «Там пришла телеграмма, я это чувствую», — что он смирился, пошел на почту, а с полдороги повернул назад, побежал, — очень уж страшно и тяжко ему стало. Он ворвался в дверь номера и увидел, что она мертва. В поспешной записке, которая была приколота к моему одеялу, он прочем:

«Срочно вернись с ребенком в Москву. Когда мама освободится, отдай ей ребенка. Работай. Женись. Живи!»

В самом начале всего этого ужаса она словно была на грани помешательства. Не могла ни на минуту оставаться одна... А потом вдруг успокаивалась. Но все о чем-то размышляла и молчала. Может быть, вспоминала одну свою давнюю, почти детскую идею:

«Я люблю жизнь. Странная и непонятная, она безмерно хороша... Я люблю еще жизнь потому, что не боюсь ее. Она мне подвластна, не я ей. В любой миг, когда захочу, смогу прекратить жить. Я не боюсь смерти, а потому люблю жизнь. Мне интересна смерть. Я хочу знать ее, быть может, узнаю что-либо через нее... »

Потом он написал из Тары, как все случилось:

«Состояние Тамары еще ухудшилось только что перенесенной малярией с температурой 40. Последний удар — этот отъезд. Психиатр признал у нее пограничное состояние шизофрении. Во время сборов состояние было...» — письмо он не смог закончить.

Шизофрения... Наивный московский психиатр! Мандельштамам в Чердыни попалась врачиха, лучше понимавшая, в чем дело. Она дала Надежде Яковлевне добрый и очень разумный совет — не показывать Осипа Эмильевича, который вдруг «сошел с ума», психиатрам и не отдавать его ни в какое лечебное учреждение. Надежда Яковлевна замечает: «Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» - у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных...»

Не только подследственных «это» поражало, ссылаемых тоже.

Трезвая, не поддающаяся иллюзиям, Надежда Яковлевна задает вопрос: «Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью?» Опытные ссыльные объяснили: «Беспокоиться однако не надо: «это» - проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — ничего хорошего не сулит... Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия».

У Надежды Яковлевны, вспомним, был в запасе еще один секрет равновесия: «Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с этой надеждой: самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас, и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть...»

У того, кто убивает себя, есть иллюзия, что он нашел выход. Но удар обрушивается на близких.

Один священник с большим духовным опытом сказал мне, что он воспринимает самоубийство, как падение в пропасть мчавшегося на полной скорости автомобиля. Погибает не только водитель. Погибают или калечатся те, кто оказался рядом: близкие...

Бабушка Женя чуть не умерла от горя. Я записала ее рассказ:

«Я послала ей посылочку: кофточку вышитую, она так любила вышитые мною кофточки. Еще что-то из вещей, такой ящичек... Твой папа писал, что устроился там на какую-то работу временную, комнату сняли...

Однажды я сижу, работаю, приносит секретарь почту, я ее всегда сама разбирала и раздавала, и среди казенных писем лежала телеграмма, ее секретарь засунул подальше, чтобы я не

сразу увидела. Он дал пачку и ушел быстро.

И вдруг я прочла эту телеграмму. У меня в глазах потемнело. Я не знаю, что со мною было. Только сказала начальнику:

— Отпустите меня. Я не могу работать.

Меня сразу отпустили. Я пришла домой, легла. Главное, сделать ничего не могу. Ни поехать, ни похоронить, ни тебя забрать. Если бы не догадался твой папа написать в телеграмме: «Завещала тебе свою дочь», я бы не осталась жить. Зачем?»

14

Ее самоубийство, о котором я сначала ничего не знала, потом — догадывалась, и наконец — убедилась, долго мучило меня...

И разве не удивительно, что я так люблю тех, кто жил до того, как проклюнулось мое «я»?

Отца я хоть сколько-то знала, мы с ним успели стать друг другу дороги, и когда он исчез из моего мира, его любовь осталась со мною и вместе со мной росла, менялась, строила мой внутренний мир. Но любовь к маме — тоже живая, так же развивалась, становилась все богаче, глубже...

Растаявшее облако? «Влажный след в морщине»? Выцветшие фотографии? Почерк на истлевшем листке? Что я люблю? Человека-то я не знала. Но это невидимое, эфемерное, что я отнюдь не эфемерно воспринимала, всю жизнь меня согревает, бережет, учит, одаривает... Растит...

Как мне хотелось увидеть мою маму во сне! Но она мне не снилась.

Однажды я почувствовала ее присутствие. Я шла одна по лесу, по горячей от пыли мягкой полевой дороге. Потом лежала в траве, глядя, как взлохмаченные сосны вершинами разметают белые облака. И вдруг мне показалось: моя мама — здесь, со мной! Я даже оглянулась. Не сминалась от ее движения трава, не перемещалась легкая пыль на дороге, но я отчетливо ощутила прикосновение ее любви и печали. Я поняла, что наслаждаюсь каждым мгновением жизни так, остро и за нее тоже.

Целый рой голубых бабочек летел над травой. От трепета множества крыл ожил воздух. А бабочки вдруг разом опустились на мои плечи, руки, платье; невесомые маленькие крылья трепетали, разворачивались и складывались, наполняя меня изумлением и счастьем. Я боялась перевести дыхание и думала: «Видит ли она это?», и чувствовала — видит!

В то памятное лето я — наконец! — встретила ее во сне. Я оказалась в большом здании, похожем на Зимний дворец, только не золоченом, не мраморном, аскетически строгом. Анфилада зал полна была народу. Все в большом возбуждении чего-то ждали, тревожились, жестикулировали, все разом говорили, перетекая группами из зала в зал.

Я присела на белую скамью, гладкую, прохладную, чистую, оглядела белые стены, белый высоченный потолок, белые распахнутые двери, посмотрела на пестрые толпы, заполнившие большие пространства залов гулом голосов, стуком шагов, хаотичным движением. Меня не касалось их волнение, их

ожидание, я здесь оказалась совершенно посторонней, меня никто не замечал, словно я была пустым местом.

И вдруг я почувствовала, что на другой конец скамьи опустился кто-то, такой близкий мне, такой дорогой, что меня охватила теплая волна радости. Я взглянула — кто это? И увидела маму. Вот она какая — тоненькая, легкая! Ее одежда была тревожных тонов: темно-зеленая юбка и темно-красная блузка. Косо подстриженные волосы занавешивали склоненное лицо. Глаза блестели из-под прядей. Я так и рванулась к ней — обнять и все рассказать о себе, о ней, о нас... Я физически ощутила, как слова в горле заметались, словно толпа свидетелей, жаждущих заявить о себе... Но она резко отвернулась, вскочила и бросилась от меня в гущу народа. Я поняла, что ей нельзя почему-то со мной разговаривать, нельзя смотреть мне в глаза, и в то же время угадывала, как она стремится ко мне всем существом, но не может переступить через запрет. И все же я погналась за ней. Я бежала по бесконечным залам, натыкаясь на людей, крутясь в их водоворотах, путаясь во встречных потоках. Я видела: где-то впереди мелькает край темно-зеленой юбки, в толпе растворялась тоненькая фигурка... У меня колотилось сердце.

Я молила: «Не убегай, пожалуйста! Я ведь так тебя люблю! Я тебя ни за что не осуждаю. Ни за что! Только бы сказать тебе, как я тебя люблю!»

Так и проснулась на своей постели в слезах, с колотящимся сердцем и запыхавшаяся, словно действительно после долгой и бесплодной погони.

Почему ей нельзя было побыть со мной? Ведь она умерла, чтобы нас с отцом спасти...

Когда маме было три года, бабушка Женя привела ее в храм в Берлине. Девочка увидела распятие. Она вгляделась в лицо Христа с потеками крови от тернового венца, в Его руки, пробитые большими гвоздями, и начала кричать и плакать: «Злые люди! Злые люди! Зачем они Боженьку гвоздями прибили?»

Бабушка испугалась, что дочка слишком впечатлительная, и больше никогда не водила ее в храм. Она хотела защитить детскую ранимую душу и не знала, что раны Христа имеют врачующую силу. Чем больше человек о них плачет и думает, тем свободнее и сильнее становится незаметно для себя. Если бы из детских слез родилась любовь ко Христу, вся жизнь девочки пошла бы по другому руслу: ее характер сложился бы по-другому, ее защитили бы от отчаяния могущественные силы... И что бы с ней ни случилось, она не стала бы обрывать свою жизнь сама...

15

Отец рассказывал и рассказывал о ее смерти всем, кто хотел его слушать, так больно ему было. Он не мог носить эту боль в себе. А людям казалось, что он свихнулся и бредит. Особенно всех пугала его идея «фикс» — выкопать ее из могилы и оживить...

Все-таки это я его спасла. Ему пришлось все время обо мне помнить и заботиться. Я ему не давала сосредоточиться на его боли. Он от горя и усталости с ног валился, но не мог спать. Говорят, он не хотел спустить меня с рук. Смотрел мне в лицо и плакал. Он в реке стирал пеленки, положив меня в какую-нибудь ямку, защищенную от ветра...

Когда я смотрю на воду большой реки, я так и вижу моего отца, склоненного к потоку — к этому движению, влажному дыханию, шевелению, переливу множества разных голосов: журчанию, плеску, шуршанию... У реки есть цель, к которой она неуклонно стремится. И смотреть на это направленное движение — целебно для души...

Наверное, именно тогда на Иртыше он вдруг обрел надежду, что все еще можно изменить. Когда-то он, лектор московского планетария, смеялся над идеей странного философа Федорова, что человечество должно оживить всех умерших предков и вместе с воскрешенными строить новую жизнь на планете... А еще Циолковский проповедовал, что сила чувства — это непрерывная лестница, нисходящая от живого мира- до мертвой материи, не исчезающая даже на границе живого... Так разве не может сила чувства вернуть мертвое в состояние живого?..

И — у Стивенсона во «Владельце Баллантре» индиец Секундра выкопал из могилы своего господина, пролежавшего в ней несколько дней, и пытался оживить. У него не получилось всего по двум причинам: воздух был слишком холодный, и Баллантре был злодеем...

Отец вспоминал, как моя мама читала Стивенсона по-английски, когда ждала меня — в счастливейшие дни, весенние, мирные. (Вот счастье было: неторопливо читать, ничего не бояться, смотреть друг на друга в чистой уютной своей комнате). Она читала Стивенсона и с листа перевела ему эту страшную сцену. Они тогда еще поговорили о смерти, об идеях Федорова, о Циолковском... Им казалось это все таким нежизненным, надуманным, белибердой...

А теперь ему хотелось встретить такого Секундру и узнать у него... методику оживления.

Отец упорно думал об этом, представляя, как узнает способ,

выкопает гроб, отдерет крышку, снова увидит ее лицо и оживит. Распад остановится и пойдет вспять! И жизнь к ней вернется, наполнит ее и будет продолжаться...

Знакомые в Москве слушали с жалостью, кивали, сочувствовали и уверялись в его безумии. Он жил этой идеей, и снова и снова ее обдумывал. Идея стала мечтой. Заветной.

Он добирался до Москвы очень долго и давал телеграммы начальникам пристаней и железнодорожных станций по пути следования, что везет осиротевшего грудного младенца и просит помочь с кормилицей.

И женщины, которые жили по маршруту нашего следования, приходили к пароходу или поезду и кормили меня.

Моя жизнь состояла из сна, а промежутки бодрствования были заполнены чувством голода, жажды, холода, противного мокрого беспокойства и блаженно-сухого покоя и сытости... Но я знаю, что если младенца родители не ограждают от чужих людей и он привыкает, что от чужих лиц и рук на него изливается только добро, тепло и ласка, он вырастает дружелюбным и доверчивым...

На каждую кормящую мать, на каждую встреченную им женщину с грудным ребенком отец смотрел теперь, как на друга. Он мог подойти и протянуть своего младенца кормящей матери. Не надо было никаких объяснений. Взглянув в его лицо, женщина без слов понимала, что у него горе, и брала меня и прикладывала к груди, когда чувствовала, что ее собственный ребенок уже сыт.

Отец смотрел, как я вцепляюсь в сосок чужой женщины жадным ртом, и плакал, не замечая слез. Об этом рассказала мне няня Даша, которую пугало, что у него слезы сами текут, как только заговорят о его умершей жене или выпадет из чемодана ее старое платье...

Сколько у меня молочных братьев и сестер на Иртыше, на пространстве от Омска до Москвы, каких они разных национальностей, вер, обычаев... В буквальном смысле — народ меня выкормил, и я ему обязана жизнью. И я не могу предпочитать одну национальность другой. У всех матерей молоко — как живая вода в сказке — питает жизнь.

А мой отец лелеял свою мечту, прижимая меня к себе, может быть, он шептал о ней, вглядываясь в мое лицо. А я, спустя восемь лет, так же страстно желала оживить его, пристально разглядывая его лицо на маленькой измятой фотокарточке...

16

У моего отца была комната в коммуналке в Сверчковом переулке.

Вернувшись в Москву, он стал работать в школе — преподавал астрономию, физику, математику. К научной работе его не допускали, ведь он скомпрометировал себя, уехав в ссылку за своей подозрительной женой.

...Я просыпаюсь после очередной болезни и чувствую, что вернулись силы. И хочется пробежать по теплому паркету к окну, взобраться на круглое сиденье деревянного кресла, потом — на письменный стол, на зеленое сукно — обширный луг с темной чернильницей из мрамора и бронзы. Там бронзовые медвежата карабкаются на бронзовые пни, в которых стынут радужные зеркальца чернил... А дальше — окно, а в окне — серый двор с единственной пыльной и кривой липой в центре. Пыль я не замечаю, это я позже замечу и запомню, когда немного вырасту. Листья-то на липе — зеленые! И солнце их просвечивает — настоящее! И тени бегают по песку в песочнице точно такие же, как на большом бульваре на Чистых прудах, где я гуляла с няней. Как я рада, что липа кривая. Значит, я когда-нибудь смогу на нее залезть! И залезу, и сяду высоко, и посмотрю далеко. Правда, вокруг только окна, окна, окна...

Внизу — мусорные баки с полуоткрытыми крышками, из-под которых торчат старые газеты и тряпки. Между булыжниками кое-где высовываются вихорки пыльной травы.

Прикосновения вещей, бумаг, одежд так приятны! Бумаги пахнут стариной, а платья — магазином. Стулья приготовились скакать на своих гнутых ножках, диван готов плыть по паркетному морю, а занавеска над форточкой выгнулась, как парус на картинке...

После калейдоскопа разнообразных нянь у меня появилась няня Даша. Я ее полюбила — лицо, руки, объятия, словечки, теплый запах волос и платья...

В детстве у человека другие измерения времени и пространства. С завтрака до обеда, с обеда до ужина проходят целые эпохи, от двери комнаты до окна помещается Вселенная. Все вещи живут, как люди, у них свои интересы. Они умеют менять обличья. Занавеска на книжной полке может зловеще шевелиться в сумерки, угрожая выпустить из своих малиновых складок что-то страшное, что наполнит душу ужасом. А может, наоборот, — дружелюбно прятать меня в своих пыльных объятиях, когда в передней раздеваются, смеясь и громко

разговаривая, гости, а у меня начинается жестокий приступ смущения — до слез...

Детские страхи... Когда боязно спустить ноги с дивана: кто-то выскочит, плоский, темный из поддиванного пространства, выскочит и схватит плоскими пыльными лапами... Короткие перебежки со стула на стул — круглые спинки стульев и круглые сиденья, на которых хочется покрутиться, но деревянные ручки обнимают — берегут от падения на пол, и каждый стул — маленькая надежная крепость...

Там, в коридоре, за плотно закрытой белой дверью идет своя жизнь: чьи-то шаги, голоса, телефонные разговоры. Стукнет парадная дверь, и сразу моя белая дверь распахнется, и появится няня Даша, румяная, пахнущая городским ветром и дождем, с тяжелой сумкой на сгибе руки, а в сумке — всегда что-нибудь вкусное. Я умоляюще смотрю на белую дверь, но она неподвижна...

Когда нет няни Даши, вещи молчат и выжидают — им хочется пожить без людей...

Папина кровать такая важная! Владелица блестящих шаров, всегда холодных на холодных блестящих спинках из столбиков и перекладин. Торжественно лежит простое белое покрывало, его нельзя мять (попробуй, влезь на кровать без разрешения, покрывало сразу выдаст!). Подушка стоит на нем углом, она знает все папины сны и ночные мысли. У нее торчат мягкие уши, в которые можно шептать свои пожелания, чтобы она передала их папе.

А моя кроватка с сеткой — в углу за шкафом. Днем она выглядит таинственно: там, за сеткой прохладно и сумрачно, хочется туда забраться и играть, но нельзя, потому что кровать — только для сна... Засыпая, я долго смотрю на настенный коврик с тремя гномами под мухомором. От него пахнет клеем и холстом. Гномы хитро глядят из-под колпаков, надвинутых на глаза. Это мамин коврик, из ее немецкого детства. И она на него смотрела перед сном.

И вообще все тут — мамино. Ее руками вышиты чехлы на креслах, диванные подушки и грелка на чайник. Она все здесь устраивала для нашей общей жизни... Но мамы нет, вместо нее — няня Даша. У нее есть свои дети и она рвется к ним. Но всегда целует меня, укладывая спать, уговаривает съесть еще ложку манной каши, утешает, когда я ссорюсь с ребятами во дворе или набиваю шишку. А если я болею, она сидит рядом и держит меня за руку, дает лекарство или кладет на лоб холодный компресс и рассказывает, рассказывает о своих детях, о жизни в деревне, о поросенке Ваське и корове Любимушке...

Каждое лето до самой войны я проводила у брата бабушки Жени Николая Кузьмича и его жены Елены Владимировны, которую называла Туполеся: соединенное — тетя Олеся.

Жили они на Лесостепной лесохозяйственной опытной станции на границе Тульской и Орловской областей, где мой двоюродный дедушка Николай Кузьмич Вехов был заместителем директора по научной части. Это сюда моя мама умоляла отпустить ее непреклонного «тов. Леденса».

Здесь был дом, рояль в доме, цветник под окнами и сад. Елена Владимировна сначала работала на станции, потом стала заниматься только домашним хозяйством, которое требовало много сил и времени. Кормить ей приходилось много народу: кроме семьи, мужа, двух сыновей и сестры, еще и приезжих сотрудников, аспирантов Николая Кузьмича, к тому времени — профессора. За продуктами ездили то на лошади, то на машине в ближайший город Ефремов.

Я очень полюбила тетю Олесю. А она писала обо мне в лагерь бабушке Жене:

«Наконец-то малышка у нас. <…> Приехала она к нам с няней и с отцом. <…> Сейчас у нас много цветов, цветник я в этом году уладила как следует. И розы есть, и пионы, и гвоздики и т.д. Так когда к малышке поднесут цветы, она не вдыхает запах, а носом делает выдох и при этом цокает: вкусно! Ну а Николай Кузьмин, батька наш, сильно постарел, лицо худое, много седых волос… «

В доме Веховых было весело, устраивались домашние праздники, вечера и концерты, в которые тетя Олеся вкладывала много фантазии и выдумки:

«Я частенько концерты устраиваю. Когда мы Володю «праздновали» (поступление на биофак МГУ младшего сына Веховых, кузена моей мамы), мы ему поднесли сосну, увешанную пряниками, пожелали вывести новую породу сосен (сосна пряничная), а я подала к столу блюдо: розовые острова на молочном озере — манный мусс вишневый с молоком и пожелала Володе устроить такую страну. Завтра, верно, устрою танцы со световыми эффектами: есть у меня 5-6 полосок целлофана цветного — буду экраны цветные перед лампой ставить, а один из зимних вечеров шел с танцами с лентами: 18 лент 2-х метровой длины разных цветов. <…> Недавно устраивала вечер Грига с цитатами из его биографии. Был вечер, темой которого я взяла «вечера в музыке. Конечно, много играла ноктюрнов. Так мы. веселимся. А теперь толчешься с утра до ночи, часто и играть некогда, так что моя техника здорово сдала. Ну ничего, зимой поиграю…»

Писала тетя Олеся и о том, как она меня воспитывала: «Если она падает, мы не жалеем, советуем встать, посмотреть, где это она дырку носом сделала?»

До сих пор помню кусок крашеного желтого пола, который я, по-видимому, тщательно рассматривала. Помню его прохладу, чистоту и гладкость. Наверное, меня сильно поразила мысль, что не только мне больно, но что я могла и пол продырявить носом. Я трогала нос пальцем и убеждалась, что он только сверху мягкий, а внутри — твердый. Вполне мог пробить в полу дырку... Неужели полу тоже больно? Как это узнать? Ведь он никогда не плачет...

Тетя Олеся не боялась давать поручения мне, двухлетней. Доверяла что-то отнести, передать, поставить на место, и я радостно отправлялась исполнять поручение. Около дома был обширный цветник, там у меня была своя клумба, куда я сажала палочки и была уверена, что из них вырастут цветы. Для меня в цветнике расчистили дорожку и посыпали желтым речным песком. Я рисовала на этом песке большие черные каляки, под песком земля была черная. У меня был и свой гамак. Он висел низко над травой, я доставала ногами землю и могла сама раскачиваться.

Тетя Олеся писала бабушке Жене:

«Она говорит: «гамак мой». Свое местоимение она знает, других нет пока. Есть своя лавочка маленькая. И там, как-то сидя на своей лавочке, она углядела дым из трубы и была поражена в особенности тем явлением, что это связано с самоваром. Я целые сутки с ней. Ухитряюсь рукодельничать (не бросила этой страсти), вот только играть никак не удается, так как соперница не терпит моей музыки, находит, что она лучше играет, и тут же лапками шлепает по клавишам. Я с трудом догадалась однажды: «Тюполися, аяяи!» Оказывается, она хочет играть на рояле...»

Это под «тетиолесиным» роялем я сидела и слушала ее игру, которую вспоминала в эвакуации и больнице как самое чудесное переживание в моей жизни. Музыка грохотала и гудела вокруг, в каждой половице и во мне самой, а к распахнутой настежь двери подходили из темноты любопытные деревья и кусты и заглядывали в светлые комнаты, и прохладно дышали. И хотелось, и боязно было выйти к ним, переступив границу света и тьмы...

Когда началась война, я была у тети Олеси. Все боялись каких-то парашютистов. Я, конечно, не понимала, кто это, думала — страшные чудовища, раз взрослые их так испугались. Начались перемещения, скитания, бегство от бомбежки. Почему-то мы жили в сарае, где я радовалась обществу поросенка, овец и кур и не страдала от блох в отличие от взрослых. Я стала совсем

деревенским ребенком. Нянчила полено, запеленутое в тряпку, называла его своей дочкой.

Я сама ничего не помню, но в сохранившихся у бабушки Жени письмах тетя Олеся все это красочно описала, как и вообще весь хаос эвакуации, безумие внезапных сборов.

...Разоренный дом. Рояль, оставленный в пустом доме, как живое, обреченное существо..

У моего отца лицо сразу переставало быть взрослым, когда он снимал очки. Взрослый для меня значило — сильный; тот, кто все может и все знает, тот, кого никто не посмеет обидеть.

Но — стоило папе снять очки, он тут же превращался в мальчишку, которого только что сбили с ног. И при этом он оставался таким большим по сравнению со мной, что мне на него надо было смотреть, запрокинув голову;

Как ему удалось уговорить военкома взять его в армию? Даже для ополчения он не годился с близорукостью минус 8. Но чем ближе фашисты подходили к Москве, тем больше его снедали тревога и жажда действия.

Я помню, как он ходил со мной по городу, ставшему непохожим на себя, как сдавливал мне руку, когда по улице нестройно шли отряды ополчения или шагали солдаты. Он застревал у плакатов «Что ты сделал для фронта?» и «Родина-мать зовет», хотя я не любила на них смотреть: у женщины на плакатах было резкое, страшное лицо, страшные пряди волос и обвиняющий палец, нацеленный мне в глаза...

В витринах вместо красивых манекенов с красивыми улыбками и туманными глазами теперь валялись толстопузые серые мешки с песком. Куда делись манекены? Мне всегда хотелось иметь такую большущую куклу, как взрослая тетя, наряжать ее и укладывать на диване. Где теперь эти куклы? Лучше бы отдали девочкам...

Не на что было смотреть. Скучно! Совсем нет гуляющих на улицах. Все спешат.

Вид у прохожих озабоченный, мчатся куда-то, и все ненарядные...

Из-за угла в пустой переулок выходит отряд ополченцев с песней вразнобой. Странно видеть этих людей в строю, пытающихся шагать дружно. Они совсем невоенные, как и мой папа. А он замирает на пыльных булыжниках, смотрит через очки, и где его веселая улыбка? Он нервничает, спешит, тащит меня за собой, и я боюсь капризничать, бегу, спотыкаясь.

Не представляю, как он воевал. У меня близорукость гораздо меньше, но без очков я в трех шагах вместо человеческого лица вижу расплывчатое пятно.

Мне рассказывали, что винтовка у него была старого образца, 1913 года. Наверное, при выстреле сильно отдавала в плечо. Я в школе стреляла из мелкашки, и толчок был чувствительный, я хваталась за очки. А на войне с очками, наверное, совсем беда: то запотеют, когда нет возможности их протереть, так и идешь вслепую, то соскочат, если резко наклонишься, то пылью зарастут... И вообще — о них надо постоянно помнить, беречь...

Он мог уйти из ополчения. Его часть долго жила в какой-то школе в Москве, наверное, недалеко от нашего дома, потому что, помню, мы с няней ходили к нему пешком, приносили еду. Я долго хотела потом попасть в тот школьный двор, усыпанный почему-то соломой. На ней тогда рядом с папой сидели усталые невоенные люди. Ветер разгонял солому по всему переулку, ее желтые клочки долго бежали за нами, когда мы уходили. Папа смотрел нам вслед через очки, я оглядывалась, и мы друг другу махали. Даже в эвакуации я вспоминала людей, сидящих на соломе в школьном дворе и папу у самой ограды и думала: а вдруг он еще там сидит?

Ополчение понемногу расползалось. Люди уставали от первоначального героического порыва и начинали трезво оценивать свои возможности и обстоятельства. Какие из них воины с их хроническими болячками, грузом возраста, с дедовскими винтовками против танков и автоматчиков на мотоциклах?.. Кто-то пристроился на завод, кто-то в учреждения... Мой отец тоже мог уйти. К нему приходил его товарищ и предлагал бронь как ученому, нужному для обороны. Но отец ответил:

— Если бы я был русский, я бы так и сделал... Что я за солдат с моим зрением... Но я еврей! Я не смогу слушать попреки, что евреи спрятались за спину русского Ивана. Лучше в бою погибнуть...

Он трезво смотрел на происходящее и был уверен, что погибнет... Товарищ моего отца рассказывал, что когда встретил его в военной форме, то даже растерялся, и сердце у него защемило. Совершенно не воинственный это был солдат. Худенькая шея в широком вороте гимнастерки. Сильные тяжелые очки на осунувшемся лице. Все ему было велико: и башмаки с обмотками, и гимнастерка, а пилотка — мала, еле покрывала крупную голову.

А я, всего через полтора года после ухода отца в ополчение, в больнице, лежа в гипсовой кроватке, все мечтала, как папа вернется с фронта, я сразу выздоровею, он заберет меня из больницы и мы будем счастливы. Я целовала его маленькую фотографию в «тихий час», натянув на голову простыню, чтобы

никто не помешал, и умоляла его не погибнуть, вернуться ко мне. Возможно, на какое -то время я сделала из него Бога для себя и молилась ему. Иконой была маленькая фотокарточка для документа, немного нерезкая и сразу пожелтевшая по краям, с трещинкой через все лицо — от пилотки до ворота слишком широкой гимнастерки.

С фотографии смотрело печальное лицо со впалыми щеками. Этот клочок фотобумаги оставался как бы гарантией, что отец жив и вернется. Вот же он! Смотрит! Словно хочет что-то сказать... И я продолжала его ждать, когда его тело уже смешалось с глиной Ржевщины. Он оставался жив только для меня. А когда я поняла, что ждать больше нечего, я придумала себе поиск на поле боя и оживление с помощью живой воды.

Я так живо воображала, как мы с ним будем гулять по Москве, что когда стала взрослой, воспоминание об этих фантазиях казалось похожим на действительные переживания. Все-таки воображение опирается на реальность...

Когда-то давным-давно... Неужели это на самом деле было? Мы с ним сидели на каких-то каменных ступенях, прогретых солнцем, у наших ног плескалась река, и наверху и внизу плыли облака, слепила синева, и тени и свет пробегали по его улыбающемуся лицу, беспрестанно меняя его... А над нашими головами воздушные шары на длинных нитках стукались друг о друга с мягким резиновым скрипом, танцевали, дергали нитки из наших пальцев, и их прозрачные тени скакали по ступеням, выбеленным жарой.

Почему я тосковала только об отце, мечтала только о нем, а матери словно и не было?

А я ее не помнила... Не успела осознать ее. Глаза, улыбка, прикосновение, голос, запах, дыхание ее, — все это ушло, когда мое сознание не «включилось» еще. А отца я не только знала, а могла гордиться им. Его возвышал ореол героизма: воин! Защитник Родины! О таких людях пело радио, говорили, торжественными голосами дикторы и учителя, ничуть не стесняясь собственного пафоса. И даже много лет спустя я не раз попадалась на эту удочку воинственного патриотизма

По утрам я любила смотреть, как папа бреется. Он быстро водил намыленной кисточкой по нижней части лица, и вот он уже совсем как клоун в цирке, с белым подбородком, надо только нарисовать веселый красный рот... Но папа и без всякой подрисовки начинал меня смешить. Надувал по очереди белые щеки, чтобы соскрести с них вместе с пеной щетину, его рот съезжал то на одну сторону, то на другую, я приходила в восторг и покатывалась со смеху. А к полудню чисто выбритые папины

щеки уже снова были колючими. Я любила колоть о них ладони и лицо... Сама эта колючесть — мужская, мужественная... Прижмешься к колючей щеке — и тебе ничего не страшно!

Стоило мне услышать, как кто-то кричит «папа», и увидеть, как ребенок мчится, раскинув руки, чтобы с налету обнять своего отца, я убегала и пряталась, чтобы порыдать без свидетелей.

Что я знала о своем отце? Что может знать о своих родителях четырех-пятилетний ребенок? Я помнила, что он добрый, что он большой, сильный, веселый... Когда он скакал по комнате, посадив меня на плечи, а я цеплялась за его густую гриву, стараясь удержаться, хохотала и визжала, он смеялся не меньше меня. Ему нравилось, доскакав до абажура с бахромой, висевшего, как оранжевый плод, высоко под потолком, резко подпрыгивать, чтобы я могла покачать бахрому, отчего по мебели, по стенам, как длинные темные волны, пробегали тени...

А когда я стала старше, я узнала, что мой отец был астрономом. Бабушка купила мне несколько популярных брошюр по астрономии, чтобы я могла узнать, что это такое (она хотела, чтобы я научилась сама отыскивать ответы на свои многочисленные вопросы, не мучая ими других), и еще в своем гипсовом заточении я прочитала эти брошюры, поразившие мое воображение. Там говорилось о белых, голубых, желтых и красных звездах, о Марсе, на котором видны в телескоп полосы, похожие на каналы, вырытые таинственными существами, о взрывах на вечно кипящем Солнце, о Земле, летящей в черной пустоте вокруг Солнца, как мячик, привязанный на нитке...

Лежа пять лет в гипсе, я совсем забыла, как выглядит ночное небо не из окна. Помнила тот момент, когда мы бежали во время воздушной тревоги куда-то по темному переулку, а я была сонной, кое-как одетой, путалась в незашнурованных ботинках, спотыкалась, не хотела бежать, хотя совсем близко громыхало... И вдруг меня что-то рвануло, подбросило, я так больно грохнулась спиной о булыжники, что у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Я лежала на спине и видела серые облака над крышами, черные провалы между клочьями облаков... Пробегающие по облакам и черноте, белые, дымящиеся клинки прожекторов. А может быть, я увидела все это потом? В кино?

Когда я выздоровела, встала, научилась ходить и впервые синим осенним вечером влезла на крышу нашего с бабушкой домика, легла на теплую дранку и стала смотреть, как все ярче загорается месяц, и звезды четче выступают из темнеющей синевы, восторг овладел мною. Эта величественная картина была живой. Она все время менялась. Между мной и звездами шли облака. А чернота, в которой наливались светом звезды,

становилась все бездонней. Она оказалась совсем не бархатной, головокружительно пустой, жуткой и влекла ужасно, как влечет к себе тайна, которую не можешь разгадать. Жаль, я не знала имен звезд, у меня не было карты звездного неба. Но я зато знала, что каждая безымянная для меня звезда имеет свою участь. Она переживает детство, молодость, зрелость и старость, и я пыталась по их цвету и мерцанию определить, какая звезда — дитя, какая — бабушка... Я думала об отце: он знал тайны звезд!

Позже сестры отца рассказали мне, что уже с трех лет он стремился к небу. Звездными вечерами карабкался на деревья, чтобы поближе увидеть звезды. В шесть лет однажды пропал на весь день, вернулся голодный, исцарапанный, но очень гордый: познакомился с летчиком на большом поле за городом, где проходили испытания летательных аппаратов, и публика могла покупать билеты и подниматься в небо. Чтобы зрители не пугались, чтобы убедить их в безопасности аттракциона, летчик поднимался в воздух не один, а с маленьким ребенком — моим отцом. Летчик называл его «сыночком».

С этого дня мой отец стал мечтать о полетах к звездам и частенько рассуждал об этом, потешая взрослых.

У меня есть книга о метеоритах, написанная моим отцом совместно с его товарищем, который стал потом академиком. Книга полна пафоса, свойственного стилю многих книг и статей 20-х годов — это стиль Пролеткульта, Союза воинствующих безбожников — хулиганский пафос — навязывание читателю точки зрения пишущего. Это натиск ниспровергателя, так захваченного страстью ниспровергать, что ему не остается возможности вникнуть в чужую мысль, в чужую идею. Моего отца захватило желание все объяснить просто, доступно, механистично... А в письмах, которые он писал моей маме, отец совсем другой — умный, ясно размышляющий... Куда все это девалось, когда он писал книгу? Темперамент проповедника — атеиста задавил все. В книге доказывается, что в метеоритах нет ничего таинственного, что это — обыкновенные обломки обыкновенных небесных тел. Он с такой страстью утверждал обычность астрономии — такой же ясной сферы человеческих знаний, как химия, биология... С такой страстью, что астрономия становилась... поэзией.

Обыденное, насквозь прозаичное дело нельзя любить со страстью. И получалось, что он разоблачает таинственность с такой яростью потому, что потрясен этой таинственностью, непознаваемостью мира, где за раскрываемой тайной угадываешь контуры иных, ускользающих, к которым и подступиться не знаешь как...

Папа, с которым я вернулась в Москву, ушел на фронт с ополчением. Я же оказалась сначала в поезде с эвакуированными, потом в сибирской глубинке, а затем у приютившей меня доброй старушки в деревне под Алапаевском. Там меня и обнаружила моя тетя Лия, папина сестра, умирающей от костного туберкулеза и малярии. Тетя Лия и устроила меня в больницу в Свердловске.

Она написала об этом папе письмо, которое он уже не получил, и бабушке Жене в лагерь. Она сохранила все ее открытки. Вот одна из них от 4 января 1943 года:

«Многоуважаемая Евгения Кузъминична! Марианночка находится в костнотуберкулезном санатории. На крестец, спинку наложен гипс. В таком положении ей придется лежать года два. Понятно, что Вам ее взять к себе невозможно, ибо она должна лечиться. Когда процесс прекратится, ей придется носить шесть лет корсет... Я у нее бываю по воскресеньям, так как она от меня находится в 5 км. Она поправилась по отношению к тому времени, как я ее увидела в деревне...»

Потом тетя Лия вместе со своим медицинским институтом вернулась в Москву и меня перевезла в подмосковный костнотуберкулезный санаторий. Это был уже 1944 год...

Тетя Олеся тоже вернулась из эвакуации. И пришла ко мне в санаторий. Вот что она потом написала:

«Дорогая Женя!

Наконец-то я добралась и до Марианночки. Как это было страшно — потеряться на дорогах войны. <...> Наконец, мы — рядом, и я могу ее навещать, следить, как она поправляется и растет... Они находятся летом на крытой веранде, вывезли ее мне на кроватке. Ручки тоненькие и маленькие, мордочка — поджаренная на солнышке. Подбородочек остренький, Тамусин, глаза черные. <...> С гордостью мне сказала, что ей уже 7 лет, умеет читать, и когда выздоровеет, пойдет учиться в школу... Игрушки мне показала... Под головой у нее не подушка, а сложенное полотенце... Я принесла ей булку с маслом, она принялась уничтожать ее, но не смогла всю съесть, оставили в запас, принялась за печенье и конфеты, — остаток в запас, отдали няне, на свертке написали: «Марианночка».

Я ее спрашивала — плачет ли она? Оказывается, плачет, когда обижают мальчишки. Я ей посоветовала грозно кулак сжать и отдубасить как следует обидчика, научила ее складывать кулак. Вдруг она спросила меня, помню ли я, как я спасала одну девочку, которая ножку себе косой порезала, сколько тогда крови из ноги лилось!

Уцепила меня за платье (белая вставка привлекла ее внимание), отнимала у меня портфель. Я пообещала достать ей

карандаши и бумагу — в этом у них всегда нехватка. Перецеловала я ей каждый пальчик, щечки... Болит ли спинка? — спросила. Оказывается, болит, только мало, а раньше, в другом городе, очень болела. Лежит она в гипсовом лотке, в таком, как новорожденных взвешивают, и привязана вдоль к кровати. Не хотела меня отпускать, но тут начал дождь накрапывать, и я умчалась, пообещав еще к ней приходить...»

До чего же мне хотелось умчаться вместе с ней в ее чудесную, праздничную, подвижную жизнь! Почему те, кто могут ходить и даже бегать, не понимают, какие они счастливчики?

Когда я на Севере научилась ходить и впервые вошла в лес, я испытала приступ благоговения и восторга. Великанши-сосны и березы представлялись мне таинственными существами, прикованными к месту, чтобы они не улетели и не оставили землю голой. Их тучеподобные кроны и вытянутые в струну стволы, — все стремилось ввысь к небу. Мне казалось, что как я страстно мечтала ходить, так и деревья заворожены мечтой летать. Ведь на их ветках живут крылатые существа — птицы и насекомые, их громадные тела раскачивает веющий на просторе ветер, и облака вечно летят над ними. То, что происходит внизу, у корней, на земле, так далеко и мелко от того, что видят и чувствуют кроны, что деревья, наверное, едва замечают это. Так я, маленькая и ошеломленная, стояла по колено в мокрой траве, в сумраке, едва дышала от восторга и боялась сделать шаг, чтобы не раздавить кого-нибудь совсем крошечного.

17

Всякий раз, когда я, уже повзрослев, думала о гибели моей мамы, безнадежная жалость меня изматывала. Я стала молиться — просто своими словами просила Господа Бога согреть ее душу, принять к Себе, пожалеть, простить... И как в детстве в больнице, моя физическая боль слушалась молитвы и исчезала, так и теперь душевная боль теряла остроту. Я чувствовала, что молитва что-то меняет во мне и вне меня, пришло ощущение какого-то теплого контакта, словно молитва — это мост через пропасть времени и пространства, разъединившую меня с человеком, с которым я очень тесно связана.

Я не была настоящей верующей, я еще только размышляла о вере, о смысле моей жизни, как каждый человек размышляет, когда обстоятельства выталкивают его из рамок привычных забот и нужд... Я начинала свои молитвы такими словами: «Господи, Творец мира, если Ты действительно есть и если Ты слышишь человека...»

Рассуждала я так: предположим, там, за гробом, ничего нет. Тогда моя молитва ничего не значит, тогда — это средство для успокоения себя. А если есть? Две тысячи лет люди молятся в церквах «о упокоении»... Что же это — вековая привычка, темное заблуждение, невероятно живучее?.. Если существует хотя бы крошечная возможность, даже — тень возможности как-то облегчить ту мамину участь, послать ей весть о том, что я ее люблю, как же я могу не воспользоваться этой возможностью?

Я решила, что должна отпеть маму в церкви. Но как это сделать? Можно ли входить в церковь некрещеной?

И вот я опять в больнице. Опять женщины много говорят о смерти, о том, как церковная молитва помогает душам умерших и как она нужна:

«Не помню, в которой церкви, к священнику подошла старушка, стала умолять:

— Пойди к мужчине одному, причасти, исповедуй, он скоро умрет...

Священник сказал:

— Мне сейчас некогда. Ты дай мне адрес, я освобожусь и приду.

Она дала ему адрес, на бумажке записала. Он закончил требы и поехал. Звонит в дверь. Ему открывает молодой мужчина, здоровый, краснощекий. Священник показывает записку:

— Здесь живет такой-то?

— Здесь...

Священник вошел в квартиру и говорит:

— Это вы больной? Это вас надо причащать?

— Что вы, я здоровый. И неверующий...

— Женщина приходила и вызвала меня. Вот записка с адресом.

— Женщина? Но я живу совсем один.

Священник заметил на стене фотографию и узнал давешнюю старушку:

— Да вот же она! Это она приходила, адрес писала.

— Не может быть! Она умерла 18 лет тому назад, я был еще мальчишкой. Это бабушка моя...

— Неужели и почерк ее?

Мужчина покопался в ящике, вытащил измятое письмо. Сличили. Один почерк! Священник удивился, подробно описал старушку. Мужчина очень смутился, расстроился. Говорит:

— Ладно, раз все так странно... И вас потревожили... Исповедуйте меня и причастите, а то я чего-то вроде испугался...

Ну, священник его исповедал, причастил и уехал. А на другой день рано-рано утром, когда тот мужчина вышел из дома, он попал под машину и умер. И привезли его родственники отпевать в ту церковь, к тому священнику, к которому умершая старушка приходила.

Видно, бабушка его была молитвенница...»

«А плакать по покойникам нельзя, им вредно! У нас умерла сестренка, Душка, мы плакали-плакали, все ее вспоминали... Однажды сидим на крыльце, поглядели на коврик, который Душка соткала, и ну плакать. И вдруг слышим ее голос:

— Перестаньте плакать! Затопили меня! — и замечаем две ее руки на заборе, а самой не видать, будто спряталась за забор».

«Моя сноха увидела во сне: муж ее утонувший говорит:

Не знаю, оставлять тебе сыночка или к себе забрать...

Она весь день ходила, как дурная, ждала, что случится. Ребенка на руках таскала, никуда от себя не отпускала. И вот через некоторое время у мальчика на ноге появилось черное пятнышко, а потом начался антонов огонь, и через три дня он умер».

«У нашей Нины умер отец, она его очень сильно оплакивала. Он ей приснился: лежит одетый, в чем хоронили, в ванной, полной чистой-чистой воды, светлой-светлой... Старушки объяснили сон: его в слезах утопили, нельзя столько плакать о нем, лучше помянуть его душу».

«У моей снохи так и было! Она долго оплакивала сыночка, все Господа просила:

— Господи, дай мне хоть во сне увидать моего сыночка!

Ее молитва дошла до Господа.

Во сне идет она длинным коридором, своды высокие, как в русской печи — полукругом. И вот подымается перед нею заслонка. Большая комната. И много-много детей. Играют, бегают между кроваток.

— Нет здесь моего сына, — сказала мать, поглядев на детей, и пошла дальше.

И опять поднялась заслонка, снова — комната больше прежней, полная детей, и тут не было ее сына.

Только в третьей комнате за заслонкой нашелся ее сыночек. Был он — в чем хоронили. Повел мать, показал свою кроватку:

— Вот здесь, мама, я теперь живу.

Она смотрит, а он достает из-под подушки и грызет сахар.

— Кто же, детка, приносит тебе сахар здесь?

— А это, мама, когда ты меня там поминаешь, мне всегда что-нибудь приносят.

Кроватка оказалась у него хорошая, да сырая.

— Почему у тебя сырая кроватка, сынок?

— А это потому, что ты обо мне слишком много плачешь, мама...»

Зачем я все это записывала? Мне казалось, что я должна все собирать: прозрения и догадки философов, свидетельства и рассказы людей. И когда много таких записей соберется, я смогу что-то понять, потому что сложится некая картина и для меня что-то определится. Мне хотелось понять, что происходило с моими родителями, что значит их гибель и как я смогу облегчить их посмертную участь, если она у них есть...

Многовековой народный опыт говорит, что за умерших надо молиться, надо отпевать в церкви тех, кто был крещен. Моя мама была крещеная...

А я? Крещеная ли я? Как мне это узнать?

Я решила: «Раз мне ничего не известно, я пойду и крещусь сама».

А зачем вообще это надо — креститься, я не знала. Даже много позже, когда я поняла, что я — верующая, я еще думала так: «Если я, наконец, узнала достоверно для себя, что Бог есть, что Он меня любит, если почувствовала, что я Его люблю, то зачем креститься? Я же с Ним разговариваю в молитвах, а Он мне отвечает, Он знает, что я к Нему привязываюсь все больше и больше и только о Нем и думаю... Я, как тот человек из евангельской притчи, который нашел жемчужину, радуюсь, потому что обрела настоящее сокровище моей жизни! И ведь Он, конечно, знает, что я за каждый знак Его внимания благодарна Ему всем сердцем...»

Но люди крестятся две тысячи лет, а главное — Христос Сам попросил Иоанна Его крестить!

Сам!

Попросил!

Решено: «я сделаю так, а потом узнаю когда-нибудь, для чего это нужно! И еще: ведь если наши власти так преследуют тех, кто крестится, венчается, ходит в церковь, значит — боятся этого. Значит, в этом — истинное...»

Так долго я стояла на пороге церкви, не решаясь войти и не понимая — Храм ли для меня храм... Ведь я искала вслепую, без руководителя...

Уже совсем взрослой, я опять попала в больницу с диагнозом: туберкулез тазобедренного сустава. И одна больная тайком дала мне свое Евангелие, маленькую тамиздатовскую книжку с мелким шрифтом на тончайших страницах. У нее уже отобрали одно Евангелие, теперь она боялась потерять и это. Она ходила читать его в туалет. Там же она и молилась — у окна, замазанного известкой. Ведь можно было закрыться на задвижку, а когда раздавались чьи-нибудь шаги, книжка исчезала в кармане серого больничного халата... Мне казалось кощунственным читать Евангелие в туалете. Я вспомнила свои детские проделки с книгами и устроила себе читальный зал под белой простыней, натянутой, как палатка. В своей белой палатке я читала, и это было не чтение, а вхождение в Веру. Я принимала каждое слово, как рассказ, обращенный ко мне, о том, что было с Тем, Кто меня любит. Особенно меня поразило, когда Петр отрекся трижды, потом вышел за ворота дома, возле которого сидел у ночного костра, услышал крик петуха и заплакал. Мои слезы слились со слезами Петра... Все это было похоже на внезапно пришедшую ко мне любовь, такую, о какой я мечтала. Такую, которая переворачивает все в человеке, и человек спрашивает себя: как можно было без этого .жить?

...Ночью я проснулась от страшного храпа моих сопалатниц. Они оглохли от стрептомицина, и у них что-то разладилось в органах дыхания, храп звучал неестественно, надрывно, и слушать его было тяжело, как громкий плач...

За окном в темноте горел фонарь, в конусе света крутился снег. Там было какое-то волнение света, тьмы, близко от окна снег падал мягко, влажно, задевал стекла, а дальше — все летело снизу вверх, клубилось и бесконечно испарялось в темноту. Вдруг я поняла, что это — театр для меня: белый фейерверк, сверкание, круженье, мягкие хлопья, бросаемые горстями в стекло. Я была единственным зрителем, любовавшимся этим роскошным зрелищем. Зимняя ночь раскидывала передо мной свои

неисчислимые богатства, чтобы порадовать меня...

Потом я ощутила, что весь мир окутывает меня добротой. Я лежала в теплом помещении и смотрела в окно, которое для меня кто-то чисто вымыл. Меня укрывала простыня, а ее соткали для меня чьи-то руки. Конечно, те, кто растил хлопок, собирал его, обрабатывал, прял нити, не знали обо мне, но вот их труды соединились, чтобы согреть меня... Все люди работают друг для друга, можно бесконечно радоваться этому.

Я почувствовала себя очень счастливой. Мне захотелось чем-то порадовать Господа, Который разбудил меня, чтобы рассказать, что жизнь — это чудо. Чем я могла Его порадовать, больная, одинокая, невежественная? Я подумала, что может быть, Ему приятно будет мое послушание. Я пойду в церковь и крещусь, чтобы быть ближе к Нему...

Но в какую церковь мне идти? Бабушка Женя — из семьи старообрядцев, ее муж, мой дед — лютеранин, мать его, моя прабабушка, — католичка, отец мой — атеист, а его родители — правоверные иудеи.

Кто же я?

Я крестилась в православной церкви. Женщина, которая молилась в туалете у мелочно-белого слепого окна, была православной. Она и открыла мне свою родную церковь.

«Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! Где твоя победа?» (1 Кор. 15, 54 - 55).

Это все я узнала потом, когда ко мне чудесным образом стали приходить книги, когда появились люди, которых можно было спрашивать...

В больнице меня готовили к операции на тазобедренном суставе. После нее я на всю жизнь осталась бы инвалидом. Перед операцией я решила креститься.

Крестил меня пьяненький священник. Он кричал на всех, командовал. Было холодно, и смущали любопытные, которые заглядывали за ширму, отгородившую часть храма, где происходило крещение.

Я пристроила костыли в сторонку, стала босиком на какой-то серой тряпочке. Длинную ночную сорочку шевелил сквозняк. Я все думала о маме. Где ее бедная душа? Поможет ли ей мое обращение?

Было начало ледяного марта. Как раз — день ее рождения! Так случайно (случайно ли?) совпало... И вдруг в высоком церковном окне зажегся совсем летний, ясный, веселый солнечный луч и лег на мои озябшие ноги, словно накрыл их

теплой большой ладонью...

И в сердце установился светлый покой, я такого еще никогда не испытывала: торжественная радость, ясность... Началось таинство, и наш раздраженный священник стал добреть, смягчаться и трезветь. Мы, случайные крещающиеся, больше не раздражали его своей бестолковостью.

Он велел мне на следующий день прийти утром причаститься. Я не знала, что это такое, но решила слушаться. Кроме того, я хотела заказать панихиду по маме.

На следующий день я ехала опять в промерзшем трамвае, брела, оскальзываясь, на костылях по наледям на тротуарах... Ездить по городу в гололедицу, когда твоя опора — только костыли, — нелегкая задача...

В церкви шла общая исповедь, потому что церковь была переполнена людьми и священники не могли говорить с каждым. Меня это неприятно поразило. У Лескова я читала, что исповедь — таинство.

Но таинства не было в церкви никакого! Старушки, толкаясь, выстроились в очередь, самую прозаическую, привычную, со злым шипением друг на друга, с тычками, с торопливостью, словно все желали отделаться поскорее. Или — скорее что-то ухватить. Я увидела все это и расстроилась. Мне жалко было Христа. И это — все, чего Он добился Своими трудами, молитвами, страданиями?..

Меня с моими костылями продвинули в голову очереди, и я подошла после совсем древних старушек к незнакомому священнику, дающему отпущение грехов: он покрывал узорной тканью опущенные головы и что-то говорил со строгим и печальным выражением лица.

Это был старый, невысокий человек. Меня поразили его глаза: усталые, выцветшие, они глядели настолько проницательно, что я догадалась — этот священник видит людей насквозь, но не сердится, не презирает, а жалеет и любит всех, даже плохих. Когда я подковыляла к нему, он вдруг выпрямился, словно стал выше, властно простер руку, как бы отсекая меня от других. От этого жеста очередь подалась назад, и мы с ним остались вдвоем у тумбочки с крестом и Евангелием на бархатной салфетке.

Священник, глядя проникновенно мне прямо в глаза, положил руки мне на плечи и сказал:

— Теперь ты не одна. Теперь о тебе будет заботиться Отец Небесный. Ты привыкла полагаться только на себя. Отныне со всякой нуждой обращайся к Нему. Скажи, ты разговариваешь с фотографиями тех, кого любишь, когда их самих долго нет с

тобою рядом и ты скучаешь по ним? Ну вот, так же смотри на иконы и разговаривай с Отцом.

Сегодня ты рождаешься заново. Все твои грехи, как старое грязное платье, брошены в костер и сгорели... — и он благословил меня. Он смотрел на меня печально, ласково, понимающе.

Я была вне себя от удивления. Он же ничего обо мне не знал! Мы с ним впервые в жизни увиделись. Но как объяснить такому доброму, такому отзывчивому человеку, что я крестилась не для того, чтобы одолевать Бога просьбами. Это я считала непорядочным. Неужели надо просить?..

Вскоре я сделала открытие: оказывается, просьбы сближают, как бы делают отношения более интимными, а надежда быть услышанным — согревает. Когда просьба выполняется, в сердце зажигается благодарность. Да, надо просить! Для того, чтобы исчезли преграды, чтобы убедиться: я услышана. Все это делает просящего и надеющегося на отклик независимым от обстоятельств, случая, страхов, прихотей других людей. Выводит в свободу!

После службы я не ушла, дождалась старого священника и рассказала ему о смерти моей мамы. И спросила, можно ли ее отпевать в церкви. Он отвернулся и постоял, опустив голову, перед иконой Богородицы. А потом ответил, что моя мама не виновата ни в чем, потому что ее затравили, довели до самоубийства. С нее грех снят, он пал на того, кто ее довел до отчаяния, тем более, что мотивы у нее были — спасение ребенка и мужа от ее собственной тяжелой участи. Значит, она принесла себя в жертву, за нас положила душу свою...

Батюшка расстелил лист с похоронной молитвой и горстью земли на маленьком столе, и мы вместе молились о моей маме. Какое у него было доброе лицо! Мои слезы капали на свечку, тихо горевшую у самых глаз, и внутреннее напряжение смягчалось, таяло, уходило, и я радовалась надежде, что мама это чувствует, что ей легче, что огонек моей свечи ее согревает...

Через три дня с утра я почувствовала: что-то случилось или сейчас случится в моей жизни, мне надо куда-то срочно идти. Я старалась не обращать на непонятную тревогу внимание, но все валилось из рук, я места себе не находила, металась по комнате, все вспоминала почему-то лицо старенького священника, когда он молился. Его худенькая фигурка с опущенными плечами так и стояла передо мной, я думала о его глазах — отчего они такие печальные. Наверное, он видел столько человеческого горя, что его душа переполнилась чужими слезами...

Наконец я не выдержала, взяла костыли и поплелась на

трамвайную остановку.

Как долго тащился трамвай по обледенелым улицам мимо грязных сугробов...

Я вошла в церковь и увидела сразу направо от входа гроб. Там лежал кто-то с накрытым лицом, одетый не в обычный костюм, а в ризу. На груди спокойно сложены желтоватые старческие руки.

— Кто это? — спросила я.

— Это наш отец Евгений... Ты его знаешь, он тебя причащал, помнишь? Долго тебе чего-то говорил...

— Он же был здоров! Неужели это он? Так неожиданно...

— Он... Он... Отчитывал одержимого бесами. Сердце не выдержало. Он плохо себя чувствовал, но поехал, мать того одержимого мальчика очень просила, плакала. А отец Евгений себя не жалел, он людей жалел...

Я подошла ко гробу и поцеловала сложенные руки. И попросила отца Евгения, чтобы он помог душе моей мамы... Там... Я почувствовала, как связывает нас всех любовь. Если умершие могут воспринять нашу живую любовь, тогда понятно, почему «для Бога нет мертвых».

Должна добавить, что, хотя это и покажется кому-то невероятным, совсем скоро и неожиданно я бросила костыли, мне не нужна стала даже палка, потому что сам собой прошел мой туберкулез тазобедренного сустава... И операция стала не нужна.

Но вернусь в больницу к той женщине, которая дала мне читать Евангелие и посоветовала креститься в православной церкви-

Была эта женщина крошечная, с сильным искривлением позвоночника , с парализованными ногами. Она ходила на костылях, в сущности — на руках, потому что на ноги не могла опираться, они висели, как тряпочные. Вес тела приходился на руки и плечи, отчего руки стали длинными и сильными, а плечи поднялись выше — до уровня подбородка.

Ее звали Анечкой. Я не могла называть ее Анной или Аней, только Анечкой, потому что на лице у нее всегда сияла кроткая детская улыбка, - не бессмысленно детская, а — радостная, светлая.

Поводов для радости у Анечки в жизни не было. Она заболела туберкулезом позвоночника, как и я, в годы войны, когда ей было три года. Но у нее не было возможности попасть в больницу и туберкулез сгрыз ей позвоночник очень быстро. Теперь она страдала от болей и мышечных судорог. Под мышками у нее часто образовывались фурункулы и нарывы, и она ходила на своих тяжелых костылях с большими муками, каждое

прикосновение костылей вызывало ожог боли. Анины родители умерли от туберкулеза, когда ей было 14 лет, а ее сестре — 6.

Девочки остались в шестнадцатиметровой комнате в коммуналке. Соседи, которым захотелось забрать себе эту комнату, предложили Анечке перебраться в дом инвалидов, а сестру отдать в детский дом. Но Анечка твердо решила воспитать ее сама. Она брала в артели инвалидов работу — вышивала распашенки для новорожденных и получала маленькую пенсию. И вырастила сестру, дала ей возможность учиться в техникуме, выдала замуж....

Навещали Анечку в больнице пожилые женщины в темных платках, очень тихие. Они скользили вдоль стен так осторожно, словно хотели сойти за призраки или тени. Другие больные их называли с презрением «церковницы». Они приносили Анечке варенье и фрукты, шептались, пригнувшись к ее подушке, провожали в туалет. Я знала, что они там вместе молились, когда Анечку слишком мучили боли и фурункулы.

Анечка рассказала мне о другой России, которой я не знала: о России монастырей, старцев, святых источников и богомольцев, кочующих по стране в надежде обрести исцеление или истину. Параллельно с нашей привычной жизнью, добыванием квартир, еды, книг, работы, хождением в гости, поездками на юг или в Прибалтику, дрязгами и примирениями, изменами, болезнями, шла жизнь совсем другая, со своими драмами и радостями, иными ценностями... Я была ошеломлена. Мне трудно было представить путешественницей Анюту — на костылях, с мешочком на горбатой спине, такую слабую, что ей страшен был любой сквозняк, любая выбоина в асфальте...

Однажды, уже после больницы, я шла с Анечкой по улице. Прохожие поглядывали на нее, смотрели люди из окон автобусов. Из одного магазина вышла рослая, раскормленная пара. Дама была крупная, нарядная, от нее издали пахло дорогими духами. Все перед нею расступались. Поравнявшись с нами, дама кивнула своему спутнику на Аню и громко и непринужденно спросила:

— Ну, скажи, зачем такие живут на свете? Только настроение людям портят! Я бы их всех...

Анечка опустила голову и даже шаг не замедлила. Все так же, как прежде, равномерно бросала вперед костыли, опираясь на ватные скрюченные ноги, как на русалочий хвост, волокла ноги по тротуару и снова — бросок. Тук... тук... Она прошептала мне:

— Не отвечай! Не обращай внимания. Я уже привыкла. Все люди разные...

С Анечкой происходили чудеса. Однажды она заблудилась в чужом городе в метель и гололедицу, поняла, что сейчас упадет и

замерзнет. Были сумерки, полное безлюдье. Она начала громко звать святителя Николая, покровителя паломников и путешественников. Она молилась и плакала, и вдруг кто-то взял ее за плечо и повел сквозь метель. Привел к какому-то крыльцу, сказал:

— Постучись, тебе откроют.

Она посмотрела на своего благодетеля. Это был старичок, светлый и строгий, лицо его показалось ей знакомым. Он улыбнулся и исчез в метели.

Она постучалась в указанную дверь. Ей открыли. Оказалось, там жила уборщица местной церкви. В красном углу над столом висела большая икона святителя Николая Мирликийского, убранная вышитыми полотенцами и бумажными розами. Анечка посмотрела на икону и сказала:

— Это он! Тот старичок, который меня к вам привел…

18

Мое крещение и все, что было потом, сопровождалось такими переворотами в моей душе и в судьбе, что рационально объяснить я ничего не могу. Приблизительно это можно выразить так: словно я вернулась на родину, и мне рады, спешат показать свою радость, любовь, одарить, обласкать, утешить... И это — при том, что у меня не было духовного руководителя. Никто ничего мне не объяснял, не мог объяснить...

Те христиане, которых я знала, не могли ответить на элементарный богословский вопрос. У одних вера была просто любовью к Богу, данною им как способность дышать, видеть... Другие верили мрачно, истово. Их религиозность была языческо-ветхозаветной окраски. Страх перед жизнью, как цепью неизбежных грехов, несчастий-наказаний за каждый неверный шаг, грешную мысль, несанкционированный вздох... Ужас перед смертью-наказанием. Чувство незащищенности от злых сил. Страх перед перед неотвратимым мучением, которое будет длиться вечно. Боязнь грядущего Страшного суда...

Мне близка была вера-любовь, вера-радость, вера-доверие, вера, в которой есть благоговейный трепет, а не ужас перепуганного раба. Она пришла в тяжелое и смутное время моей жизни: словно вдруг распахнулось окно и, как подарок, хлынули тепло, синева, все голоса и краски мира в мою внутреннюю темноту и тесноту. Я словно встретила взгляд, полный любви, ко мне протянулась дружеская рука...

Но я хотела получить ответы на множество вопросов. Я ведь была тем страдающим безвинно ребенком, одиноким в мире страха, крови, войны ребенком, о котором можно было вопросить: каков смысл этой боли, одиночества, надвигающейся инвалидности — безысходного горя до конца дней?..

Кто меня спас из бездны? Зачем Он меня спас, за что полюбил, стал возиться со мною, спасать еще и еще?..

Ответы на мои вопросы стали приходить... в снах!

Один такой сон был сон-испытание, сон-тест, данный мне для того, чтобы я поняла, узнала себя, внутренне определилась. Я вспоминаю его как значительное, развернутое событие жизни.

Я ехала на велосипеде по нагретому солнцем сосновому лесу. Тропа ныряла в песок, и я спрыгивала с седла и вела за руль велосипед, увязая в горячем песке по щиколотку, сандалии полны были горячего и колючего песка... И снова я ехала, подставляя лицо лесному ветру, пахнущему разогретой смолой.

Велосипед прыгал по сосновым корням, ползущим через тропу, я попадала из тени в свет, по плечам то плескалась прохлада, то обдавало их сухим жаром.

Сосновый лес, как строгий храм, — без украшений. Одни колонны и игра света и тени. Свет лился из купола, с громадной высоты, стоял клубящимися столбами меж стволов. Ароматы сухой хвои, смолы — лесной ладан — наполняли весь величественный храм...

И вот колонны расступились. Я выехала на поляну, заросшую высоченной дикой травой.

Посреди поляны стояла ветхая кривая изба. Я прислонила велосипед к завалинке, на которой грелась ящерица, растопырив лапки. Блестящие круглые ее глазки пристально следили за мной. Я поднялась на крыльцо. Ступени прыгали и скрипели под моими шагами. А трава, проросшая в щели между досок, торчала неподвижно.

Открыв дверь, обшитую старыми телогрейками и замурзанной клеенкой, давно превратившимися в лохмотья, я очутилась в комнате.

Там стоял только старый канцелярский книжный шкаф с дверцей, печально висящей на одной петле.

В пыльное окно были видны и лес, и поляна, но теперь они казались серыми и унылыми, какими могли бы сделаться в конце безнадежной осени.

Из сумрачного угла выступила на середину комнаты моя бабушка Женя и, улыбаясь, посмотрела на меня. Я кинулась к ней, но заметила вдруг, что ее лицо раскалывает тонкая, как шелковая нить, змеящаяся трещина. Части лица на долю мгновения разрывались на разломах и тут же вновь соединялись. И я поняла, что это не бабушка Женя. Но не испугалась. Только остановилась.

— Подойди к шкафу, — сказал тот, кто прикинулся бабушкой Женей. Я подошла.

— Видишь на полке книгу?

В пыльном чреве шкафа на грязной полке лежала роскошная огромная книга. Наверное, сплошной сафьян и пергамент — плотные, пожелтевшие от времени листы, шелковистый и бархатный на вид переплет — какая дивная выделка, какой глянец, какие бронзовые застежки!..

— Возьми книгу и раскрой, — услышала я спокойное приказание, в котором мелькнуло скрытое торжество. Почему — торжество?

Огромная книга, раскрываясь на лету, сама тяжело ложится на мои протянутые руки. Ее листы с жестким шорохом

переворачиваются, обдают меня старинной пылью, на них непонятные знаки...

— Если ты прочтешь вслух то, что написано на этой странице, все детские страдания исчезнут из твоей жизни, сотрутся твои ошибки, метания, все поступки, которые стыдно вспоминать, — ты от них освободишься, как и от боли, страхов, крови, бреда, гипса, операций, тоски, одиночества... Прочти, только прочти вслух, и у тебя будет другое прошлое, другая судьба, благополучная, полная радостей, подарков, везения, счастья, — ласково журчал за моим плечом голос бабушкиного двойника.

Меня так и охватило горячей волной искушения.

Я догадалась: стоит захотеть прочесть, знаки тут же станут понятны и язык сам произнесет неведомые мне сейчас сочетания древних звуков.

Но тут же я почему-то почувствовала, что нет, нельзя ничего менять в своем прошлом, ни от чего нельзя отрекаться.

Но почему я не могу просто убрать страдания из моей жизни? Она же — моя собственная? Зачем нужны они, все эти страдания?

Когда я была больным ребенком, одиноким среди чужих, когда кричала от боли, грызла руки, мучилась в лихорадке, погружалась в страхи, — я жила этим — болью, жаром, страхом, была внутри страдания. А только отпускало, я, усталая, спала... Это взрослым было тяжело на меня смотреть извне... Сейчас, сама взрослая, я понимаю в полной мере, каково это — видеть муки ребенка. Но ведь и боль одинокого старика, обманутой девушки, избитой мужем женщины, юноши, попавшего в руки садистов, ужас и отчаяние ракового больного, умирающего в пустой квартире, — разве они меньше тех моих детских мук? Кто их может взвесить и сравнить?

Возможно ли — жалеть одного больше, чем другого?..

Очищает ли страдание? Я видела и по себе знаю — подавляет, искажает, уродует. Может быть, очищает сопротивление этим искажениям? Может быть, возвышает победа над своей слабостью?

Тогда мне нельзя отсекать себя теперешнюю от прошлой, зачеркивать мои победы, такие тяжелые, давшиеся такой большой ценой, и отворачиваться от поражений, которые мне так много помогли понять...

Я даже почувствовала, что это была бы не просто болезненная, а смертельная операция, что того одинокого ребенка в чужой избе, каким я была, она обрекла бы мучиться вечно, без надежды на перемену к лучшему, если бы я отреклась от него сейчас...

И, может быть, я—из той породы людей, которые могут накапливать опыт и вырабатывать свою систему ценностей только через страдания и лишения...

Сам Христос прошел через страдания, чтобы одухотворить всех нас и каждого по отдельности, Он добровольно взвалил на Себя самый тяжкий крест. Ему ничего не стоило отвергнуть и одиночество, и глумление, и саму казнь. Он не уклонился ни от чего, все вынес. А ведь Он был совсем безгрешен! Что же мне-то с моим грузом отталкивать свой крест?

Я увидела, что нельзя вынуть ни одного кирпича из здания судьбы. Здание рухнет...

Все это промелькнуло в доли секунды. И тогда я сказала бабушкину двойнику:

— Нет, я беру свой крест.

В книге, лежащей в моих руках, коротко громыхнуло, словно что-то взорвалось или прокатился гром вдалеке.

Я вернула книгу на полку. Как тяжело было сделать это! Руки на мгновение окаменели. В лицо мне из шкафа брызнуло серым облачком пыли...

Я оглянулась на того, кто притворился бабушкой Женей. Лицо его было расколото на части, каждая часть жила сама по себе. Один угол рта кривился, другой ухмылялся, один глаз пронзительно смотрел, словно гипнотизировал, другой — плакал... Двойник пылал гневом, как раскаленная железная болванка. Сейчас все здесь вспыхнет от него, как от смоляного факела...

И я снова оказалась на велосипеде в сосновом лесу — храме. Я крутила педали и смотрела на переливающиеся столбы солнечного света между стволами...

19

Как же я попала в этот свет, такой живой, подвижный и душистый, в храм, полный тепла, в радость, покой?

Я здесь, но я растеряла близких... Где они скитаются? Где живут? Светло ли им? Тепло ли? Что с ними?

Как странно выстроилась моя жизнь...

Обычно, когда человек умирает, он уходит от тех, кто его любил, уходит по частям, постепенно... Блекнут в памяти живых его привычки, поступки, исчезают его вещи — старятся или теряются.

Мои же умершие, наоборот, все глубже входили в ткань моей жизни, все напряженнее существовали в моем сознании. Оживали, наполнялись новыми чувствами их письма, дневники, записочки, фотографии, воспоминания тех, кто их знал...

И в конце концов получилось, что мои родители живут со мною вместе, хотя физически их нет. Словно они здесь, только в другой стране и могут вот-вот вернуться. Возрастает наша любовь, крепнет дружба, растет близость...

В дневник мамы вложена репродукция с картины какого-то немецкого художника «Нерукотворный образ». На ветхой ткани отпечатался лик прекрасного страдающего человека. Глаза закрыты, но почему-то кажется, что он смотрит. И не просто смотрит, а — именно тебе в душу...

Когда маме было 18 лет, она писала:

«Христос везде. Образ Христа, созданный сотни веков назад, не нашел себе «конкурента». То, к чему стремится нормальный человек, то, что он сознает хорошим, сознает совершенно инстинктивно, — есть не что иное, как образ Христа. Я не верю, что Христос существовал физически. Идея Христа прекраснее всего, что создавалось человечеством за время его существования. Я не понимаю, как такая идея могла создаться столько времени тому назад, тогда как и теперь еще понять ее невозможно? Окончательный крах религии — победа Христа, а не поражение. Извращение идеи, спекуляция на ней, суеверие должно пасть, должно быть уничтожено во имя Христа. Человек будущего — Христос. Не человек, а человечество. Христос везде».

«Широкая дорога прогресса, вершина научных...» — написано дальше, и на этом запись обрывается.

Что тут скажешь?

Отец тоже верил в прогресс и вершины науки. Эти ледяные вершины сияли и звали и питали атеизм, окрашенный разрушительными завихрениями эпохи.

А я все думала и думала о той стране, в которой они теперь находятся.

Мне не хотелось ломиться туда через черный ход — заниматься спиритизмом, оккультизмом. К этим вещам я относилась с неприязнью и отвращением, как и мои больничные собеседницы в детстве. Я знала, что тайна должна оставаться тайной. Поэтому стала искать ответ в Библии. В ней есть все, что человек может вместить в себя, не разрушаясь сам и не нарушая запреты своей природы... В Библии собран мистический опыт человечества, он так естественно сливается с житейским опытом, что воспринимается как здоровый, правильный подход ко всем вопросам бытия...

Мой отец хотел вырвать маму у смерти. Но ему не на кого и не на что было опереться...

Что, если бы последователям Федорова, которые думали, что возможно «будущее воскресение на почве естествознания», удалось бы оживить миллиарды умерших землян?

Встали бы воины, сжимая в руках ржавую труху, в которую превратилось их оружие, и продолжили бы свои битвы кулаками, камнями, палками, потому что вместе с ними ожили бы их ненависть, страх, гордыня, корысть... Болезни, уродства встали бы из могил, навечно слитые со своими жертвами... Многие из умерших вновь ужаснулись бы жизни, потому что не находили в ней блага, встречали лишь несправедливость, страдания. Страдать вечно — невыносимая перспектива. И этого никак не избежать. Вместе с людьми ожило бы царство насилия, потому что такое воскресение не преобразило бы внутренне (да и внешне) воскресших...

Я пытаюсь представить себе, что случилось бы, если бы отец оживил маму... Она оказалась бы все в том же безвыходном положении: ссылка, пожизненное клеймо, нет будущего, нет возможности самой строить свою судьбу, и участь близких — пугает... А ожидали ее война, новая ссылка в лучшем случае, в худшем, но вполне вероятном, — арест, тюрьма, лагерь...

Если бы она была христианкой, она бы внутренне была защищена, и все могло сложиться по-другому... Лавина зла все равно накрыла бы ее, но как многое зависит от того, в каком состоянии ты находишься, когда на тебя летит лавина...

Священное Писание тоже обещает всеобщее воскресение. Но это — совсем другое воскресение!

Я читала у пророка Иезекииля о воскрешении множества людей, чьи кости покрывали равнину. Господь Сам положил пророку на плечо руку и вывел его на эту огромную равнину, покрытую сплошь белыми костями, высушенными солнцем и

промытыми дождями... И повелел пророку призвать кости соединиться, а потом — вызвать дыхание четырех ветров — от четырех сторон света, чтобы оно вошло в лежащих на равнине. Иезекииль исполнил повеления Господа, и давным-давно истлевшие воины ожили на поле боя, встали и...

И куда же двинутся эти несметные рати?

Сам Бог поведет их в обещанную земдю, в тихую землю, где текут реки с водой, сладкой, как мед, а на берегах стоят по колено в теплой траве сытые коровы, из их переполненных сосков падают капли молока, и молочный туман стелется над речными долинами...

Или они придут в иной, преображенный мир? Мир, в котором воля Творца восстановлена, в котором ничто не стоит между Богом и человеком. Там течет одна огромная, светлая, как кристалл, река — поток жизни. Она катит светоносные волны прямо по широкой улице города, построенного из драгоценных камней, и по берегам ее, слева и справа, стоят древа жизни, их листья предназначены для исцеления народов... Так написано в Апокалипсисе.

1970 - 1999